

I 752258



В. СТЕПАНОВ

У РОДНОГО
КРЫЛЬЦА





В. СТЕПАНОВ

У РОДНОГО
КРЫЛЬЦА

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1973

СОДЕРЖАНИЕ

Шурка	3
Крайний день	22
Федька-писатель	51
Американский пиджак	60
Меж городом и селом	92
Первый подряд	115

Владимир Степанович Степанов У РОДНОГО КРЫЛЬЦА

Редактор Е. Ф. Богданов
Художник Э. В. Фролов
Художественный редактор В. С. Вежливцев
Технический редактор С. И. Соколова
Корректор Н. К. Галкина

Сдано в набор 16/IV-1973 г. Подп. к печ. 5/VI-1973 г. Формат 70×108/32.
(Бумага типог. № 1). Физ. печ. л. 4. Усл. печ. л. 5,6. Уч.-изд. л. 5,86.
ГЕ00578. Тираж 10000. Цена 19 кои. Заказ 2671.

Вологодское отделение
Северо-Западного книжного издательства
Вологда, Ветощкина, 37.
Областная типография, Вологда, Калинина, 3.



ШУРКА

ЕСЛИ не первой, то вовсе и не последней в деревне просыпается по утрам Шурка. Ни свет ни заря, а она уже на ногах. Скрипят и охают под ее шагами тонкие половицы веранды, позванивают застекленные стенки. А чего спать-то?

Спрыгнет Шурка с крылечка — роса омоет ее резиновые сапожки. А воздух-то, воздух! До того свежий и вкусный, хоть режь на куски да уписывай за обе щеки, словно ягодный кисель. Щеки пылают. Наливчатая радость и здоровье распирают прудь. И хочется Шурке подпрыгнуть этак бочком, взвизгнуть

и пуститься вдоль деревни. Она и бежит, а тяжелые косы, точно связки льняного волокна, бьют ее по тугой спине.

При виде Шурки у мужиков пропадает утренняя зевота.

— Ну и девка, — не удержится кто-нибудь от замечания. — Вон какая здоровущая выросла, а умом — дитё.

— А тебе-то что? Сам не умнее! — на ходу бросит Шурка.

Мужики крутят головами и крякают. А Шурке надо на ферму. Там будто духовой оркестр на репетиции: сорок два теленка трубят всяк по-своему. За ночь телята соскучились по хозяйке, пить и есть захотели до того, что пустота в желудках заставляет их нелепо вскидываться, бодать еще безрогими лбами друг друга и трубить, трубить во всю глотку.

— Ой вы, недомерки комолые! — прикрикнет Шурка. Вилами даже замахнется. Бывает, что и крепкое мужское словцо сорвется с языка.

Окружат ее телята, один через другого готовы перепрыгнуть, каждому хочется ощутить на своем сыром мурле теплую Шуркину ладонь, соснуть разок другой рукав ее ватника, пахнувший сладким пойлом и дымом водогрейки. Тут каждый получает от Шурки по заслугам. Грудастый Мишка — кулаком меж пробивающихся рожек. Не больно бугаенку, хочется ему после такой ласки мыкнуть и дать стрекача к корыту. А манерная Крапивка, почувствовав, что ее дернули за ухо, еще нежнее примется лизать Шуркину фуфайку.

И вот уже шуршит в яслях пахнущее летом сено, в корыта льется «чай» — пряный настой клеверной муки, а под конец Шурка подставляет каждому полведра болтушки с посыпкой. Сунется в ведро телячья морда, и только желваки покатаются по лоснящейся

шее. Невероятно быстро пустеют ведра, телячьи головы с затуманенными от сытости глазами поднимаются, с губ тянутся редкие белесые капли. Как приятно теперь раздуть почищенные бока и, сломав в коленях сначала передние ноги, а затем подвернув задние, пасть на сухую подстилку, походя набросанную проворными Шуркиными руками.

Не ложится лишь Мишка. Шурка обнимает его за шею, и они скачут в водогрейку. Там Мишка становится на весы и минуту ждет, пока Шурка тремит гирями и записывает что-то в тетрадь. Потом губы бычка нащупывают в Шуркиной ладони ломоть хлеба, намоченного в молоке, и Мишка уходит в стойло.

В телятнике тишина. Лишь сытые вздохи да шуршание соломы тревожат теплый воздух. Шурка сует в дверные скобы вилы — заперт, значит, телятник — и бежит в водогрейку. Тут она украдкой отливает из бидона с пол-литра молока и скрывается в красном уголке. Накрепко зажмуривает глаза, умывается молоком. Утершись, ревниво разглядывает лицо в карманное зеркальце, на обратной стороне которого слюдяная картинка Ленинградского адмиралтейства. Такое умывание — Шуркин секрет. Это бабки ее недоумили, для белизны лица, мол, нет лучшего средства, чем кобылье молоко. Но где его нынче сыщешь, кобылье-то молоко?

То ли от молока, то ли от природы, а возможно, от чистого деревенского воздуха Шурка и в самом деле была белолица и пригожда. Вот только губы и нос крупноваты. Но это, казалось, никого не интересовало. В колхозе ее ценили. На ферму она пришла после десятилетки. В школе считалась надежной ученицей, а на ферме стала хорошей телятницей. Весело работала Шурка. И вечерами не скучала. Вместе с холостым еще братом Володей часто бывала в клубе. Володя — колхозный механизатор, в армии уже от-

служил. Видный парень, хотя и пониже Шурки ростом, зато в плечах широк и силен необыкновенно. Идут они от дома до клуба и веселятся. Дорога все по перелескам. После дождей тут грязища, хоть бродни надевай. Но Володя топаёт напрямки — привык на тракторе-то без объездов шпарить, а Шурка петляет, обходит лужи, прыгает через канавы. Тихонько догонит брата и толкнет в самую грязь. Крепко толкнет, да разве повалишь Володю! Покачнется он, хохотнет — и за Шуркой. Пробежит шагов десять, а дальше пропадает охота мстить сестре, переставляет не спеша свои чугунные ноги.

В клубе Шурка вела себя степенно. Проходила в передний угол, садилась там возле самой радиолы и сидела, поджав пухлые губы, словно за порядком следила. Немногочисленные парни и девчата дурачились и танцевали. Беспokoить Шурку, приставать к ней всерьез парни не решались: знали они ее крутоватый характер и скорую на расправу руку.

На узенькой сцене мужики доламывали шаткий столик: забивали козла. И Володя с ними, не танцор — шифоньер с ножками.

Но чтобы кто-то пьяным сюда явился — ни-ни. Потому, что в клуб повадился участковый милиционер Вениамин Воронин. Форма сидела на нем, высоком и тощеватом, не очень-то складно. Парни вели себя с ним уважительно, но сторонились. И девчата не то чтобы не обращали на него внимания, но человек он был городской, с образованием, а ухажер никудышный. Правда, пытался Воронин и танцевать, и роли положительных героев в спектаклях играл, но по-настоящему веселым его не видели. Правильсь девчатам его глаза — большие, карие, с грустинкой. Но что из этого? Никто из девчат не сказал бы, что эти глаза приглядываются именно к ней. «Не наш», — думали о нем.

И надо же было случиться! Пришла как-то Шурка в клуб одна — Володя уехал на тракторе в райцентр и к вечеру еще не вернулся. Посидела Шурка возле радиолы, сколько захотелось, сменила в прихожей лакированные туфли на резиновые сапоги и отправилась домой. И вот позади шаги и окрик:

— Шура! Подождите минутку.

Шурка не испугалась и не обрадовалась. Она узнала Вениамина.

— Разрешите проводить, — он остановился в двух шагах. Было видно, что храбрости у него сейчас немного.

— А я дорогу хорошо знаю, — усмехнулась Шурка.

— Ну, разрешите вместе идти... Поговорим.

Шурка зарделась. Хорошо, что в темноте не видно.

— Слушаю, — сказала она.

— Я вот о чем, — не вдруг начал Вениамин. — Живем в глуши. До железной дороги сто верст. Вам не скучно?

— А чего скучать! — отозвалась Шурка. — Работа скуку гонит.

— Да я не об этом. Работа и у меня есть. Учился, ждал романтики, трудностей, а тут...

— Да, хулиганить у нас некому стало. Без милиции можем жить. А вы поезжайте на границу нарушителей ловить. Или в наш колхоз переходите работать, — слова Шурки звучали рассудительно, но в душе она уже смеялась над участковым, который ни с того ни с сего разоткровенничался среди ночи.

— Шутите вы, — понял Вениамин. — А вам что за радость возиться с телятами? Не пойму.

— А я их люблю! — засмеялась Шурка.

— Вам учиться надо, — серьезно сказал Вениамин. — Потом поздно будет.

— Глядите, какой умный, — рассердилась Шурка. — Он о других думает, а о себе — ноет. — Шурка поразилась смелости своих слов и расстроилась. Но остановиться уже не могла, и еще большее уколола нежданного кавалера. — Нагоняете скуку на людей, поневоле уехать задумаешь. Шли бы своей дорогой. Может, вас на какое происшествие ждут. Вот и будет романтика.

Шурка резко прибавила шаг.

— Эх, Шура! Я-то думал серьезно... — донесся до нее обиженный голос Вениамина.

Шурке захотелось повернуться и захохотать прямо ему в лицо. Но тут же и расхотелось. Она зажала ладонями уши — не дай бог еще что скажет Вениамин, — и побежала.

Бросила в сенях непомытые сапожки — а раньше всегда мыла — и поскорее в постель. И едва щекой коснулась прохладной хрустящей наволочки, как по лицу покатались слезы. «Может, он любит, а я, дура, обидела. А кто в округе лучше-то его? Никого!» — сквозь слезы ругала себя Шурка.

После этого Шурка недели две в клуб не ходила и Вениамина не видела. Даже изменилась немного. Бежит, бежит да и остановится, думает. Пристрастилась к газетам. Да и как их не читать, если с первой же страницы глядят на тебя улыбочивые животноводы, рассказывают о своих обязательствах, а рядом крупными буквами: «Задачи наши велики — держите курс на маяки!» Очень интересовали Шурку эти слова, потому что недавно были они помещены рядом с ее фамилией. Володя тогда сострил:

— Шурка у нас и вправду маяк. И ростом, и лицо сияет.

Вспомнились Шурке эти слова. Улыбнулась она. Но память тут же подсунула и другие, сказанные тогда же матерью.

— Это что же такое маяк-то? Вроде каланчи, что ли? Нехорошо так девушку-то обзывать.

Загрустила Шурка. Стало думаться о том, какие красивые платья у девчонок, приезжающих на лето из городов, прически у них модные, ногти крашенные, разговоры свои особые... Вспомнила с обидой, что эти школьные подруги уже не принимают ее всерьез. Поздороваются, оглядят Шурку с ухмылкой и убегут к речке. Порхают там целый день, как бабочки...

— Мама, а не уехать ли мне в город? — прижалась она лицом к плечу матери.

— А хуже не будет, — одобрила мать. — Чего тебе тут пропадать. Не для того я тебя учила, и нечего на скотину образование тратить. Она и без него завсегда росла не хуже нынешнего.

— Боюсь я, — прошептала Шурка. — Я там ничего не знаю...

* * *

«Здравствуйте, дорогая мама и брат Володя!

Во первых строках моего письма шлю вам горячий привет и наилучшие пожелания, а главное — здоровья. Тетка меня встретила хорошо. Устроила ученицей в швейную мастерскую, там у нее есть знакомые. Работа ничего, только скучная. И вообще скучаю, от дому уходить боюсь, потому что толкотня тут и машины сплошь. Да и в квартире у тетки повернуться негде. Деньги не трачу. Напишите, как вы живете, что в деревне нового. И про телят. Кто за ними ходит.

Ваша Шурка.

30 июня 196... года.»

Мать собралась с мыслями и села за ответ. Не просто его было писать. Чувствовала мать, что не больно приглянулась Шурке городская жизнь.

«Здравствуй, Шуронька, питерянка наша! Кланяются тебе любящая мама и брат Володя. И многие о тебе спрашивают и приветы шлют. Получили мы твое письмо и рады, что устроилась ты хорошо. Живи да привыкай, все привыкали, да тетке помогай. Она тебя не обидит».

Хотелось матери написать все письмо в таком же бодром духе, но не получилось.

«Телят обрывать я не могу. Руки разболелись. Володя уж и чугуны в печь поднимает, а когда нет его — и печь не топлю. Бригадир приходил тут: когда, говорит, у твоей дочери отпуск кончится, Мишка-бычок, говорит, ревет и расти перестал. Я ему сначала-то сказала, что ты в гости поехала, сама и телят обрывать. Так я прогнала его, старого беса. Дождешься, говорю, у вас отпуска. А уехала, говорю, она насовсем. Не хуже других. А он оскалывается: не такая, говорит, Шурка, чтобы в городе жить. Ты не слушай его, от старости да от деревенской темноты он это мелет. А уж я на зиму к вам в гости прикачу. Ноне малины много будет по приметам, так привезу. Целуем тебя и обнимаем».

Скоро пришло от Шурки и второе письмо. Было оно кратким. Опять писала про скуку и еще про то, что скоро приедет за зимней одеждой.

И вот уже влетает она в родной дом. Бог знает, как от железной дороги одна добралась. Обняла Шурка мать и заплакала. И не успели они еще ничего сказать друг другу, как в избу ввалился бригадир.

— Чего тебе? — закричала мать.

— Не к моменту попал, ну, да ладно, — неловко начал бригадир и улыбнулся Шурке. — Нагостились?

— Пропали без меня? Может, прямо на телятник пошлешь? — рассердилась Шурка.

— Ну что ты? — отступил бригадир. Шурка следила за ним злым взглядом. А он будто и не замечал. — Сегодня совещание животноводов. Приходи, как время позволит. Вениамина к нам будем рядить.

— Что? — изумилась Шурка, пораженная новостью. А бригадир уже закрыл за собой дверь.

Трудно Шурке было в эту минуту. Выжидающе молчала расстроенная мать. Села Шурка за стол, прикрыла ладонями пылающие щеки. Вот так сидела она и в городе, глядя в высокое закопченное окно на серые громадины домов, на нескончаемый гремющий поток автомобилей, зажимала уши, чтобы не страдать от раздражающего шума. «Неужели не привыкну?» — тоскливо спрашивала она себя. Шура постеснялась сходить в ателье, красовавшееся напротив, через дорогу. Так и не осмелилась поменять прическу, сшить платье по моде. Ей казалось, что нахальные городские примерщики-портные будут ухмыляться и перемигиваться при виде ее тяжеловатой фигуры.

Отпросившись в мастерской на неделю, она и сама не знала, вернется ли туда. Домой ехала как на праздник...

— Не могу я там жить, — горестно сказала Шурка матери. — Не могу. И здесь после побега стыдно на улицу выйти. Не знаю, что и делать...

— Привыкнешь, — ласково уговаривала мать и гладила Шуркины косы и плечи. — Нелегко, конечно, новую жизнь начинать, а ведь надо. Привыкнешь, спасибо скажешь матери, что из родного дома гнала. Посмотри-ка на подруг-то...

— Не привыкну! — крикнула Шурка и встала.

— Ты хоть на совещание-то не ходи! — построже заговорила мать. — Собьют там тебя с толку.

Но отговорить Шурку было не просто. Она чувствовала, что на совещании ее никто не упрекнет. И хо-

тели бы поругать, да смолчат, сделают вид, что ничего не случилось. Очень нужны колхозу Шуркины руки.

Шурка шла в клуб и дивилась, что всего полдня она дома, а уже начисто забыла город.

В клуб она зашла незаметно и села в дальнем углу.

...В президиуме сидела строгая женщина из райцентра, а рядом с ней багровый и торжественный Вениамин. Строгая женщина долго говорила об успехах и больших задачах, о концентрации производства, о том, что надо смелее растить собственных маяков.

— Расскажите, товарищ Воронин, о ваших планах, — обратилась она к Вениамицу.

Тот покраснел еще гуще и неуверенно пошел к трибуне. Но глаза его блестели.

— Сейчас, — чужим голосом начал он, — сейчас... когда... — и вдруг рубанул рукой мимо трибуны. — Когда так много внимания уделяется сельскому хозяйству, нельзя стоять в стороне. Хочется и самому что-то сделать. Вот я и решил по комсомольской путевке идти в ваш колхоз. Буду откармливать свиней. Беру обязательство откормить тысячу голов в год.

Шурка замерла. Она плохо слышала, как председатель объяснял, что в колхозе создается большая показательная свиноферма, что на ней все будет по-новому.

— Отжившую технологию надо ломать! — поддакнула ему строгая представительница.

Неожиданно на ее суровом лице расцвела улыбка. Представительница легонько подмигнула председателю — учись, мол, как надо к людям подходить — и впилась взглядом в Шурку.

— Я думаю, что Шура тоже может выступить с ценным почином, — заговорила она, — может взять

на себя дополнительную группу телят. Передовая комсомолка должна увеличить свою нагрузку и подать пример.

Шурка вспыхнула. Она-то думала, что ее не заметят и не вспомнят.

— Ну, как, Шура? — с улыбкой допытывалась представительница.

— А никак! — крикнула Шурка.

— Неужели не справитесь? Ну, скажем, будет не сорок, а шестьдесят телят.

— Взялась бы, так справилась, — отчеканила Шурка и села.

Сказать, что навсегда бросает ферму и уезжает, она не могла. Соглашаться — тоже. Но представительница поняла ее по-своему.

— Ну и великолепно! — воскликнула она. — Будете соревноваться с товарищем Ворониным.

Шурка растерянно молчала. Когда после лекции ветеринара собрание объявили закрытым, она увидела, что к ней через ряды скамеек пробирается Вениамин.

— Не одобряете моего решения? — спросил он.

— Ничего я не пойму сегодня, — призналась Шурка. — Сами меня уговаривали в город уехать и вот — в свинари.

— Я много передумал! — горячо говорил Вениамин.

Они остались одни, вышли на улицу. Вениамин рассказывал Шурке, что ему, конечно, сначала будет трудно, но своего он добьется. Он проводил Шурку до дому. И она не смеялась над ним, слушала. И возле калитки они простояли долго. Шурке нравились слова Вениамина, что она — молодец, что ее место здесь, что пример Шурки увлек и самого Вениамина и что работать по соседству им будет хорошо... С этого вечера они стали с Вениамином на «ты».

— Вставай, Шуронька, все-то я тебе собрала, все приданое. Володя ушел машину искать, вставай, поезжай с богом, — ласково уговаривала мать проснувшуюся Шурку.

— Не надо, мама, — весело сказала Шурка, спрыгивая с постели. — Никуда я не поеду.

— Не ко времю шутки, — встревожилась мать. — Что же? Потетила железную дорогу и все?

— Все, мама!

— Сколько еще лет тебя до ума-то кормить надо? — запричитала мать. — Без царя в голове молодежь пошла. Нельзя девушке-то такой быть. Да и милиционер твой не лучше. Куда вас завтра-то занесет? Сегодня на скотные дворы, а завтра? Сами не знаете. Родную мать не жалеешь.

Шурка слушала и улыбалась.

— Я с тобой буду жить, мама. И никуда меня больше не занесет.

Мать вздохнула еще раз и ушла на кухню. А Шурка, зная характер матери, помчалась к телятнику.

Теперь больше всего ее интересовало, как пойдут дела у Вениамина. А дела на свинарнике шли вовсю. Рядом со стареньким свинарником мужики копали ямы, ставили столбы, тянули проволоку. Шурка не сразу сообразила, что это строится откормочный лагерь. Привезли на грузовиках поросят. Их как спустили из кузовов, так они с визгом и ударились по лагерю врассыпную. Через минуту от травянистых кочек только ключья летели.

Вениамин, не очень уверенно распоряжающийся в своих новых владениях, носил ведра с кормом на отлете, словно на нем все еще был чистенький мундир. Поросята прибывали. Они носились вдоль за-

бора, давя и пугая друг друга. В неделю лагерь стал похож на незаборованное поле, покрытое зловонными лужами. Щепки летели от навесов и заборов: поросячьи клыки легко резали сырой тес. Отгоняя животных от навеса, Вениамин обнаружил под забором первого издохшего откормочника, а рядом с ним дохлую ворону. Вениамин побежал звонить в правление.

Вскоре на газике приехал председатель.

— Не вешай нос! — бодро крикнул он Вениамину. — Сегодня же примем меры.

Меры приняли на другой день. В лагере опять застучали топоры. Новый забор шагнул от лагеря, пригородив к нему изрядное клеверное поле. Председатель на ходу давал советы Вениамину. Подъехала автоцистерна с обратом, который тут же слили в корыта. Поросята подняли вокруг них гвалт и драку. Удовлетворенный председатель укатил.

На какое-то время в лагере установился порядок. Грузовик доставлял корма. В помощь Вениамину выделили косарей и подвозчиков зеленой массы.

Шурке добавили к сорока телятам еще пятнадцать. Но она почти не замечала этого и лишь на совещании животноводов узнала, что производительность труда у нее поднялась в полтора раза и что это очень здорово. В тот день, когда пригнали телят, Вениамин, загруженный уже поменьше, вызвался даже помочь Шурке, пришел к телятнику с вилами. Но Шурка со смехом вытолкала его из тамбура. Она не любила, когда в телятник заходили посторонние.

Получалось так, что Шурка и Вениамин кончали работу в одно время и шли домой вместе.

Вениамин осмелел и стал приглашать Шурку выйти вечером посидеть где-нибудь. Она приходила. Пыталась разобраться, что творится в ее душе, и не могла: настоящего чувства в ней еще не было. А Ве-

ниамин заводил длинные разговоры о том, как найти себя, побеждать трудности и выковывать характер. Шурка понимала, что это он толкует о себе, но посмеивалась беззлобно. Вениамину нравилось говорить, и Шурка, слушая его, задумывалась, не замечая, что с лица ее не сходит мечтательная улыбка. И дома ей еще долго виделись глаза Вениамина.

* * *

Лето перевалило через зенит. С кормами стало хуже. Посыпки Шуркиным телятам больше не давали. Она целыми днями пасла их по угорчикам, а вечером расстраивалась, когда телята дружно трубили, ожидая привычного лакомства.

— Ничего вы не понимаете! — ругалась Шурка. — Мычали бы на председателя. Это он всю посыпку свиньям скормил.

А тут еще Мишка сигнал подал. Уже который день ходит на весы нехотя, будто виноват в чем. И как Шурка ни дергает за рычаги весов, как ни настраивает их — результат один: никакого привеса. Озлившись, Шурка уходила с фермы, не дождавшись Вениамина.

В такой-то недобрый день и повстречался ей председатель. Остановила Шурка газик и так выругала председателя, что тот и успехов не пожелал ей на прощание.

— Маяки вам нужны! — грубым голосом кричала она. — А каково мне над животными измываться!

— Не кричи на старших! — отбивался председатель. — Мы обо всех думаем, и о тебе в том числе.

Председатель тянул дверцу газика на себя, а Шурка — на себя. Шуркины руки были не слабее председательских. Но шофер скорость включил — и вырвалась дверца из Шуркиных рук. А то неизвестно, чем бы эта встреча закончилась.

После такого случая Шурка сама не знала, куда себя деть. Не было привычной ясности на душе. Отяжелели руки и ноги. Злилась она и на председателя, а заодно и на Вениамина. И чего он сунулся не в свое дело? Ей не хотелось показываться на глаза матери, вообще никого не хотелось видеть, и она пошла в прохладную кладовку, которая летом служила ей спальней.

До чего хорошо было лежать там на мягком постельнике и слушать ночную деревню, думать о парне, который обязательно встретится. Она еще не решалась признаться, что парень этот — Вениамин.

Шурка шагнула в темноту кладовки и чуть не упала, наткнувшись на что-то массивное.

— Опять этот Володя свои мешки переставлял с места на место! — рассердилась она. — Завалил всю кладовку. И куда девать столько хлеба? Через месяц еще полный грузовик привезет за свое комбайнерство. Наверное, и освобождал для этого угол загодя. Для чего это копится? В самом деле, для чего?

И вдруг Шурка поняла, что она знает, как надо распорядиться этим хлебом. В потемках наскоро пересчитала тугие мешки. Озлилась за недогадливость на себя и решила лечь спать без ужина.

— Телята без посыпки — и я поголодаю, — в наказание себе решила она. Да и есть-то совсем не хотелось с расстройства. И тут за стенкой кладовки раздался слабый стук. Шурка глянула в оконце и ахнула: там стоял Вениамин. Она быстро вышла к нему.

— Чего тебе? — неласково спросила она.

— Поговорить надо, — сказал он тихо.

И Шурка пошла за ним. А он вел ее за деревню, к сосновой роще. — Сядем, — наконец предложил он и постелил на землю пиджак. Шурка усмехнулась и села.

— Трудно мне, — сдавленным голосом начал Вениамин, усевшись вплотную к ней. — Опять падеж в лагере. А что будет дальше — не знаю.

— Лучше навряд ли будет, — вздохнула Шурка. — И мне не сладко.

— А ты меня избегать стала, — пенял Вениамин. — В такое время нам бы надо крепче друг друга держаться, а ты...

— Что я? — перебила Шурка.

— Чужая какая-то стала...

Шурка услышала, как что-то теплое родилось у нее в груди и испугалась, окаменела.

— Такая же я, только сержусь, — не сразу ответила она.

— На меня?

— Нет, — соврала Шурка.

— А я думал — и на меня, — облегченно вздохнул Вениамин и положил голову ей на колени. Шурка еще раз ощутила испуг и теплоту в груди, но лишь на мгновение. Ее руки сами собой прикоснулись к голове Вениамина и начали легонько гладить ее. Шурка слышала, как напрягается тело Вениамина, но не могла предположить, отчего и что за этим последует. А это тело вдруг распрямилось отпущенной пружиной и губы Вениамина больно впились в Шуркин рот. У нее захватило дух...

— Шурочка! — горячо шептал он, целуя ее. Руки у Шурки стали непослушными. Она приказывала им ударить Вениамина, а они безвольно лежали на его плечах и даже норовили обнять его за шею, притянуть к себе.

— Отойди! Прочь! — вдруг крикнула Шурка и так толкнула Вениамина, что он едва не свалился навзничь. Она вскочила, со слезами кинулась к дому, не разбирая дороги.

Вениамин бежал следом, догонял, останавливал-

ся перед ней и шептал одно и то же: «Прости, Шурка!» Шурка круто обходила его, словно перед ней был столб, и бежала, бежала прочь. Запершись в кладовке, она даже плакать не могла от негодования.

* * *

Чувство независимости и собственной правоты целиком захватило Шурку с утра. Быстренько обрядив телят, она пошла к бригадиру. Тот, не сразу поняв ее, удивился и обрадовался. Он сам поймал на клевернице смирную лошадь и запряг ее. У Шурки темнело в глазах, когда она взваливала на спину пятипудовые мешки, тряслись с непривычки ноги и вообще косо шагало под такой ношей. Последний, десятый по счету мешок на плечо вскинуть не могла — тащила его из кладовки волоком.

Воз получился что надо. Лошадь крепко упиралась в землю и выгибала хребет, но довезла его до мельницы исправно. Издробить зерно оказалось пустяковым делом. С мельницы Шурка ехала повеселевшей. К полудню ее телята получили полную норму сытной болтушки.

После обеда Шурка погнала телят в поскотину. Ни о чем ей сейчас не думалось, вспомнились только слова матери.

— Я не против. Бери зерно. А вот как Володя на это посмотрит? Ведь он заработал.

— А как он посмотрит! — вспылила тогда Шурка. — Пусть как хочет смотрит. Через месяц все вернет ему колхоз.

Шурка уже гнала к ферме умиротворенных телят, когда заметила, что там неладно. Поросячий визг и отчаянный крик Вениамина неслись явно не из лагеря, а от телятника. Шурка взбежала на угорчик и ахнула. Отсюда, словно на ладошке, было видно, как поросята снуют вокруг телятника, прутся в

тамбур. А среди взбунтовавшегося стада мечется Вениамин.

Сама не своя ринулась Шурка с угорчика. На ходу подхватила увесистый кол, закричала незнакомым для себя голосом.

Она размахивала колом, стараясь достать им ненавистных увертливых свиней, и не видела, что телята, почуяв недоброе, с басовитым рыком несутся вслед за ней, прямо на плотную ораву поросят. Два стада сшиблись. Шурка не помнила, как она очутилась на земле и со страхом удивлялась, почему по ее оголенным ногам скачут празные свиньи.

Но вот рядом никого нет. Шурка вскочила. К ней как-то криво подходил Вениамин. И видел же он, как поднимается тяжелая Шуркина рука, и успел бы отступить или заслониться от удара, но продолжал медленно подходить к ней, словно сознавая, что все равно никуда не уйти ему от этого. Он ощутил горячую боль по всей левой щеке и солоноватый привкус во рту. А Шурка уходила, не взглянув на него.

Она оглядела разгромленный тамбур, порванные мешки и изгвазданную посыпку, втопанную в навоз. И вдруг резко обернулась, почувствовав прикосновение. Но это был не Вениамин. Это Мишка лизал шершавым языком ее запачканную руку.

— Что, Миша, без нас тут наделали! — Шурка обхватила шею бычка.

Тот мыкнул и переступил всеми четырьмя ногами, поворачиваясь в сторону поскотины. Шурка оглянулась и увидела ковылявшую к ферме Крапивку. Бросилась к ней, чуть не на руках затащила ушибленную телочку в стойло.

...Никто в деревне еще не должен бы знать о случившемся на ферме и потому Шурка еще больше разволновалась, увидев, что к телятнику спешит мать.

— Ой, Шуронька, хоть и домой тебе не ходить, — с ходу запрочитала мать. — Володя-то наш, в кои веки видано, пьяный пришел, бушует, грозит тебе за зерно. Что будет-то? — Мать ухватила Шурку за руку. — Не ходи-ка ты пока домой, пусть заснет.

— Нет, пошли! — вскрикнула Шурка.

Мать, отставая с каждым шагом, что-то кричала ей вслед, но Шурка не слушала.

Володя сидел в сенях на полу, раскидав руки и ноги.

— Нажрался! — сжав кулаки, подступила к нему Шурка. — Хлеба тебе жалко, кулак несчастный!

— Не ты заработала... — попытался возвысить голос Володя.

— Осенью все тебе отдам! — не слушала его Шурка. — До единого зернышка. Может, и процент, как ростовщику, тебе выплатить? — ехидно заглянула она в лицо брата.

В ответ Володя всхлипнул. Этому удивилась даже Шурка.

— Пойдем-ка спать, нюня!

Она рывком подхватила брата под мышки, но поставить его на ноги не смогла — поволокла. На постели Володя тут же издал протяжный храп. И пока Шурка стаскивала с него сапоги, он забылся в глубоком сне.

* * *

Вениамин подъезжал к своему родному городу. «Только не думать, забыть навсегда все, что было в деревне», — заставлял он себя. Потому что, если вспоминать и честно разбираться в происшедшем, некуда было деваться от стыда...

И кому было надо подбрасывать в лагерь мертвых ворон! Ведь он не делал в деревне ничего плохого: за все время работы участковым составил всего

три или четыре протокола. А ведь из-за вороны и скандал получился... В тот злополучный день снова был падеж, и ворона опять оказалась в лагере, теперь уже подвешенная к забору. Так неужели это его, лейтенанта Вениамина Воронина кто-то считает дохой вороной? Вениамин так пнул тогда эту ворону, что упало целое прясло забора. В пролом и вырвались поросята... А потом Шурка... и этот удар. Вениамина передергивало от нестерпимого стыда и горечи.

«Только не вспоминать! Потом, когда все уляжется и не будет жечь, тогда разберусь».

И Вениамин стал думать о том, как встретят его в городе родные и друзья и где ему придется теперь работать.

...А в этот самый час Шурка тоже ехала. Только не в плацкартном вагоне, а на телеге, с новым возом зерна. Она вспоминала, каким разбитым был с похмелья Володя, как он оправдывался, как сам нагружал вторую подводу.

КРАЙНИЙ ДЕНЬ

— Дядя Яков, а дядя Яко-ов! Дома ли?

Настя требовательно постучала по резному наличнику. Не пристало ей ждать у одного окна да у другого: не отпускница городская, а колхозный бригадир.

Еще раз постучала, хотя и неловко это. Яков Иванович — не из рядовых. Бывало, сама Настя не спешила от его окна, заводила разговор, намекая на обстановку в бригаде. Старик сразу все понимал, будто сам только что думал об этом, и добрый совет не берег при себе.

«Не заболел ли?» — встревоженная Настя вошла в прохладные сени. Прислушалась — ни звука.

Осторожно вошла в избу. Яков Иванович лежал в постели, вытянув длинные узловатые руки поверх одеяла. Седая с курчавинкой борода торчала кверху.

«Да что это с ним! — Настя испугалась непривычной бледности на лице старика. — Жив ли?»

Она замерла. И тут же услышала явственное дыхание хозяина дома. У нее отлегло от сердца. «Не стану будить, умаялся, видно, — решила Настя. — Найду ему сегодня замену. Однако в доме у старого бобыля вроде бы и ничего. Большой грязи не развел. И обстановка не хуже, чем у других — мебель городская». Настя давненько не заходила в дом Якова Ивановича. Он сам исправно выполнял свои обязанности подвозчика кормов и был всегда на виду.

— Кто это? Ты, Настасья? — Яков Иванович резко дернулся, словно его ударили по животу. — Проспал, проспал, старый пенек, — запричитал он. — Первый раз в жизни проспал на работу. Вот позор на седую голову!

— Надо бы побольше соломы сегодня подвезти, пока дорога не пала совсем. По утреннику бы, — приступила к делу Настя.

— Правильно, — одобрил Яков Иванович. — Только недодумала ты. Трактористов надо посылать ноне за соломой. Они разом все приволокнут. А я за ними клочки подберу.

— Хорошо бы, — согласилась Настя.

— То-то, хорошо. Крайний день подходит.

Настя ушла. Яков Иванович позевал, поохал протяжно. Вставать не хотелось. Попытался все же подняться и испугался: ноги как не свои. Стоило большого труда выпростать их из-под одеяла и спустить ступни на половику. Огляделся — в закопаченные окна лилась яркая теплынь. Слепило глаза.

«Что это? Утро продрых, а будто и не выспался», — удивился Яков Иванович. Привычная бодрость

не приходила. — Размяться надо, — решил он. — Как это в солдатах-то делали, ра-аз! — Он вскинул руки, потянулся, замер на мгновение. И вдруг вскрикнул чужим голосом. Боль, острая, колющая в самое сердце, пронзила его. Он ударился грудью о кровать и бессильно сполз на половик.

«Вот оно... — не последнее ли утро мое... дожид до краешка», — отрывисто проносились пугающие мысли. Начало меркнуть перед глазами, даже горящие солнцем окна потухли и стали чернеть от краев к середине. «Вот и совсем темно. Все?»

Но работающее сердце, допустив сбой, рванулось и вновь принялось делать свое дело. И снова зажегся весенний свет.

«Еще одно утро увидел, — с чувством неотвратимой обреченности подумал Яков Иванович. — Прихватит второй раз вот так — и крышка. Что делать-то?»

Мучительно захотелось пить. Дотянулся до чайника на краю стола, прильнул губами к стальному носику. Чайник крупно дрожал в руках, вода оказалась горькой, остро ощущался привкус известковой накипи. Но от питья полегчало. Только пот обильно стекал на костистую грудь, рубашка прилипла к лопаткам.

«Это, поди, инфаркт у меня, — вспомнил он о новой болезни. — Или просто приступ? Все равно худо. И похоронить некому будет... Они, конечно, и телеграмму Тольке подадут, и в трест ему позвонят. Председатель колхоза первый забегает, все обеспечит, в этом сомневаться не приходится. Но успеет ли сын приехать из города? Распутица на носу. Не успеть ему, хоть он и главный механик и любую машину сам может вести», — размышлял Яков Иванович о своих похоронах спокойно и ясно, словно хоронить будут не его, а кого-то другого. Да и знал

он, что от смерти не уйдешь, близка она, и готовился к ней. И все же подступившая близость ее пугала. И он сердился на сына.

Один сын у Якова Ивановича. Надо бы гордиться таким сыном, но что с него проку, если он не здесь и малопонятно отцу его поведение. Вот и сейчас, думая о нем, разволновавшись, Яков Иванович не заметил, что разговаривает сам с собой и ходит из угла в угол.

«А я ведь хожу! — наконец очнулся он, недовольный собой за минуту слабости и растерянности. — Вишь до чего нюни распустил. А еще солдат, орденосец».

Крашенные половицы приятно холодили ступни босых ног. Дышалось все свободнее. Хотелось на улицу, на солнышко. Да и за соломой ехать обещал. Настя надеется. Только вот есть что-то не хочется. Ну да нагуляю аппетит...

* * *

Дом Якова Ивановича стоит не в ряду других, хотя и посреди деревни, а задался немного к гумну. Перед окнами просторный палисад, огороженный ровным штакетником. Этот штакетник бесплатно привезли после того, как присвоили Якову Ивановичу на общем собрании неслыханное звание — почетный колхозник. Штакетник оказался лишь началом. Потом постановили еще, что дровами и электричеством дом Березина будет снабжаться за счет колхоза, что в кино Яков Иванович может ходить хоть каждый день — и тоже бесплатно.

Якова Ивановича сначала-то оторопь взяла: за что ему все это, за какие заслуги? Однако вспомнились речи колхозного начальства, все добрые слова, сказанные на том собрании, и выходило, что справедливо говорили люди. Не раз заново перебирал старик

в памяти свою жизнь. Ой, много пота было пролито на этой земле, а иной раз и крови... И не только из мозолей.

...На крыльце у него закружилась голова.

«Неужто не работник сегодня? — сокрушенно подумал он. — Не послать ли за фельдшерницей? Что я мучить-то себя буду, возьму и пошлю. Увижу первого, кто по деревне идет, крикну и накажу, чтобы пришла медичка».

Люди по деревне проходили, а Яков Иванович вроде и не замечал их. Было еще холодновато. Пахло сыростью проталин и залежалыми подтаявшими сугробами. Плотный и ядреный воздух шумно врывается в легкие, отчего глухо ломило в груди. Яков Иванович тихо ахал и жмурился, потирая непокрытую плешь, пригретую солнцем. Двигаться не хотелось. Время от времени билась мысль, словно жилка пульсировала, что надо бы все же идти запрягать лошадей. Или на худой конец сообщить, что подкачало здоровье, а то ведь надеется на него Настя.

— Да что я им! Подохнуть, что ли, из-за ихней соломы! — слабо ругнулся он вдруг.

Но ругнулся скорее по давней привычке, от стариковской ворчливости. Никто бы в деревне, услышав это, не принял бы ни одного слова всерьез, что солома чья-то «ихняя» и возить ее надо в угоду кому-то. Давно миновали времена, когда такие слова говорились всерьез.

Неожиданно в сознании Якова Ивановича высветились картины прошлого, когда он, юный и тощий, но с высоко поднятой головой входил в свою деревню. Была на нем тогда потрепанная шинелишка, ботинки с обмотками да жесткого сукна буденовка с малиновой звездой во весь лоб. Неудобные в крестьянском бытѣ ботинки скоро удалось заменить на яловые сапоги. Буденовка свыклась с местом на полатах.

Была одна работа, радостная и выматывающая. Все приходилось делать: ходить за скотиной, холить раненную на гражданской войне лошадь, отданную ему, как демобилизованному красноармейцу и бедняку, возить навоз и пахать, а потом со святой надеждой, переполняющей грудь, бросать зерна в пахучую весеннюю землю. И ждать урожая... Жена молодая, Груша, тут же подставляла свои плечи под любую ношу. И так хорошо было с ней на своем полюшке, на своем лужке, у своей скотины, дома за самоваром, в теплой постели.

Но не шли из головы тревожные думы. Надо было — никак не обойтись без этого настоящему крестьянскому хозяйству — еще заводить сарай и овин. Да и дом отцовский уже отстоял свой срок, скособочился, зимой промерзал чуть ли не каждым пазом. Надо было поправлять хозяйство. Но видел Яков, что не по силам все это одному. Не навозить ему столько брезен и не наскрести денег, чтобы нанять плотников. Крепко болело об этом сердце... Но вдруг оказалось, что почти и не надо обо всем этом думать — пришла пора колхозов.

Не упрямылся Яков Иванович, как иные, не кричал, не чернил новое, а думал, крепко думал. Потом уж пошел в артель вместе с надежным народом. Что не ошибся — понял с первого года. И что приятно: сколько ни потел он прежде в своем единоличном хозяйстве — не слышал доброго слова, разве что жена похвалит. Да еще и присматривать надо было за своим добром в оба глаза: немало водилось в деревне и вокруг нее завистников и горлопанов, которые и кулаком бывшего красноармейца обозвать не стеснялись, и грозили. И настоящие кулаки его не жаловали. Неловко вспоминать, а был такой случай в жизни Якова Ивановича. В тридцатом году выбрали его председателем сельсовета. Посидел он день в кон-

торе, принял дела у полуслеплого старичка, бывшего учителя, выслушал наставления уполномоченного. Домой пришел затемно. С хорошим настроением шел, а жена встретила его в слезах.

— Овцы-то нашей нету, не пришла с выгона! — голосила она, пугливо оглядываясь. — А в загороде кто-то целый день шарашился, по бороздам ползал. Неспроста все это. И почто ты в сельсовет согласился идти? Не к добру...

Яков Иванович обругал ее тогда, а сам задумался. Ночь спал плохо. Чудилось во тьме, что ходит кто-то вокруг избы, крыльцо поскрипывает, за двором что-то трещит. Выйти не посмел. А когда занялось утро, отворил двери и увидел, что загажено крыльцо, а к стояку бумажка приколота. Прочел корявые буквы: «Пропала овца — пропадет и не овца».

Никому не сказал об этом Яков Иванович. Но и в сельсовете не сиделось, мешали недобрые предчувствия. В полдень прибежал к сельсовету подпасок, плачет, колотится весь. Не вдруг и понял Яков Иванович из его слов, что на табун деревенских лошадей напали незнакомые люди. Одежда на них наизнанку вывернута, один так и вовсе в белых подштанниках выбежал из леса. Лошадей бандиты не угнали, а поймали только смиренного мерина, принадлежавшего Якову Ивановичу, и покалечили ему ноги.

Долго вели мерина к дому из недалежного перелеска. Стонал и ржал мерин, скаля зубы. Второй раз пострадал он от классового врага. А что ожидать Якову Ивановичу? Ходил он с мужиками облавой по лесу, но никого не нашли. Да и не больно храбро ходили. Пулю из обреза никто не хотел получить. Да и чего ходить, если тронули только председательского коня. У председателя власть, пусть он порядок наводит.

Сильно краснел Яков Иванович, когда отказывался перед уполномоченным от председательского поста. Но настоял. В сельсовет прислали из города человека, в очках и с наганом. Шалить в округе вроде перестали, не трогали больше и хозяйство Березиных. А мерина пришлось лечить долго.

Перед войной незаметно для себя стал Яков Иванович в колхозе бригадиром. Да еще каким! Посылали его со снопами ржи и льна на выставку в Москву, привез он оттуда медаль на зеленой ленточке. И так ли радостно работалось в те годы! С песнями, с азартом. Перед самой войной родился у Березиных сын, назвали его Анатолием.

* * *

«И чего бы ему тут не жить? Ведь не послевоенные годы», — не раз задавался вопросом Яков Иванович, думая о сыне. И его самого спрашивал, но усмехается сын в ответ.

«А как бы он тут к месту пришелся с новым председателем на пару! И одногодки они, и с образованием. Надо будет вполне категорически перед сыном вопрос ставить, — решил Яков Иванович. — Не дело это — родительское гнездо рушить. Дождаться бы его только».

Много ли перепало Анатолию родительской ласки? Считай, что пустяк. А надо бы поболе. Привязать бы его покрепче к деревне, потому что нет на свете угла роднее. Да кто виноват-то? Сам отец, если по правде разобраться. Не он ли отвадил сына от дому, не сам ли корень подрубал? Было дело, хотел отец избавить сына от пустого трудодня. И вот сох да сох этот корень, а теперь, поди, начисто высох. А внуки Якова Ивановича, наверное, и вовсе не будут знать этой деревни. Это внуки почетного-то колхозника! Разве сам Толька, когда взгрустнется ему, приедет

сюда на денек-другой в лесу пошататься. Это он любит, не отнимешь. Но разве серьезное дело — грибы, ягоды! Нет, не так надо было все делать. А что он мог сделать в ту пору?

Словно вчера это было, опять вспоминается Яков Ивановичу Груша. Как живую видит. Молодая она тогда была, красивая и телом добра. И вот почернела от слез. Бежит и бежит за подводой. А подвода тяжело скрипит на ухабах, потому что сидят на ней четверо самых видных мужиков из деревни — первый призыв по военной мобилизации. Один из четверых — Яков Березин.

Без особой тревоги шел он на войну. Думалось, что недолго придется воевать, что, бог даст, к осени снова будет дома. Собирался ровно сутки. И все эти сутки Груша редела в голос. Уж и сердился на нее Яков Иванович, чтобы не пугала ребенка, не портила настроение. Не помогало. Уже вторую версту отмахал от деревни сытый колхозный конь, а Груша все бежит за подводой, спотыкается, волосы растрепались, ребенок ревет на руках... Как отъезжали от деревни, призадумались, было, мужики, вздыхали и курили. А тут принялись подсмеиваться над Березиным, в бока толкать: верни, мол, свою бабу, нехорошо под такую музыку на немца идти. Сошел Яков с телеги. Обнял жену. Сынишка затих, учуяв отца.

— Боюсь я, Яша-а! — истуленно кричала Груша. — Чует сердце, последний раз видимся.

— Приду, — не очень-то твердо успокаивал ее Яков. — Сына береги.

Яков догнал подводу. Но долго еще слышался ему будто бы предсмертный крик жены.

Всю войну помнил Яков этот крик. И то ли с жене больше думал, то ли о сыне, то ли о войне — не поймешь. Писем ждал каждый день. Была в этих письмах особенно драгоценной последняя страничка

а то и просто уголок, где чернильным карандашом были обведены растопыренные пальчики сыновней ладони. И хотя письма приходили часто, Яков каждый раз долго вглядывался в неровные линии, прикидывал в уме, намного ли выросла эта рука, стала ли крепче.

Воевал он исправно и осмотрительно. Ведь и годы не те были у него, чтобы геройствовать-то напропалую. Однако домой он шел не в полной сохранности. Мелкие царапины не в счет. А худо было то, что левая рука, пробитая в предплечье, не сгибалась, ладонь скрючило и вывернуло в сторону. Не особенно болела рука. И когда врачи выносили ему приговор — демобилизовать, он еще с надеждой пошутил:

— На такой руке способней винтовку поддерживать. Не гнется, как с упора, гадов бить можно.

Врачи только поулыбались в ответ. Они не первого такого видели, кто просился до полной победы воевать. Всем было ясно, что конец войны недалеко, фронт гремел уже по заграничным землям.

Второй раз возвращался Яков с войны ранней весной. Грачи орали на березах, солнце пригревало вовсю. По хрусткому мартовскому насту хорошо было считать шаги до дома. На долгой дороге от южного госпиталя встречал он полное уважение от всех. И он радовался, забывая про увечье. Но у околицы родной деревни схватила его за сердце боль. Двое мальчишек, уже порядочные возрастом — Яков остановился, чтобы разглядеть их — вдруг отвернулись от него и молча скрылись в ближней избе.

— Вот это герои, своих не узнают! — бодро крикнул он им вдогонку, чувствуя недоброе. У колодца, совсем уже рядом со своим домом, увидел знакомую старуху. Та глянула на него, выронила бадейку, залила водой валенки да и сойти с мокрого места забыла.

— Здорово, бабка! Мои-то дома? — остановился перед ней Яков Иванович.

— Нету их, — горестно отозвалась старуха. — Иди-ко к девушкам Кобылиным, расскажут.

— Да что стряслось-то?

— Иди, иди, родимый. — Старуха, торопясь, засемила от колодца. Яков кинулся к своему дому. Крыльцо... Снег на нем, словно неделю не подметали. И следов нет. На двери замок, чужой вроде замок-то.

В избу Кобылиных вбежал без стука. И забыл закрыть дверь, ища глазами и не находя в избе жены. Мальчишка лет пяти, увидев его, скатился с лавки и пополз под кровать, мелькая розовыми пятками.

— Толюшка, сынок! — дрогнувшим голосом позвал Яков. Сын недоверчиво глянул на него округлившимися глазами.

— Где мама?

— Маму речка унесла, — рассудительно ответил парнишка. — Она белье полоскала, и речка ее унесла.

...Тихие набожные старухи Кобылины долго рассказывали Якову, как неделю тому назад повезла Груша на санках белье к проруби, не заметила свежей промоины под снегом и провалилась. Затащило ее под лед разом. На берегу играл Толька, все видел. И схоронить не пришлось покойницу...

Оставил Яков Иванович Тольку жить у Кобылиных, а сам ушел в свой дом. Все хозяйство старух держалось теперь на его мужском догляде. Уж много позднее, когда подрос сын, стал брать его отец с собой на ночевки. И тогда было видно, что не любит сын ни реку, ни деревню, думает о чем-то, думает. Не вспоминал Яков при нем о матери. И чувствовал, что не знает он таких слов, которые надо бы сказать в то время маленькому сыну. Уж слишком много крестьянских дум и забот свалилось на него в послевоенные годы.

Где он, этот Толька — бес его знает. Да не пропадет парень. В школу третью зиму отбегал, отметки опять хорошие принес, учителя его хвалят. Двое их всего, отличников-то из всей деревни, он да еще Настя Удальцова. Толька чуток постарше будет, а в одном классе сидят. И дружат меж собой славно. Едва сядет Толька домашние задачки решать и уже вся рожица расплылась в улыбке. Сошелся, значит, ответ. И из-за стола долой.

— Куда? — нестрого спрашивает отец.

— А к Насте, ей, поди, не решить, — Толька хитренько улыбается.

— Ну валяй, помогай соседке.

Толька скрывается за дверью, слышно, как его подшитые валенки топают по сеням. Яков Иванович задумывается. Ясно, что коли зайдет сын к Удальцовым, если не пробегает с приятелями на улице, то вернется не голодный. Евдокия Удальцова, мать Настина, обязательно накормит его, чаем напоит. Без этого не отпустит.

Скучновато ребятам зимой. То ли дело летом! В избах уже давно подчищены все припасы, а в холостяцкой Якова — и подавно. И хотя не щедра северная природа, но с ранней весны дарит она ребятишкам многие лакомства. Сразу после водополицы, как только спадет мутная вода, выходит ребятня на заливные луга. Много наносит сюда река всякого мусора да так и оставляет, пока не скроет его под собой трава. И среди палок да щепок на каждом шагу попадают белые коренья, что твои колбаски, нитками перевязанные. Оботрешь корень от ила, надкусишь — и хотя будет поскрипывать на зубах речной песок, не выплюнешь. Сладок корень и тонкий вкус у него, а пуще того — большая сытность. Плохо

только, что после первого же солнечного дня сохнет корень и буреет. Тут уж он никуда не годен.

Зато по песчаным холмикам, вдоль насыпей и оврагов начинают подниматься сочные оранжевые пestyши. Эти растут долго, распушая в цветок свою твердую зеленую головку, слой за слоем, точно грибы. Позанимаешься с ними полчаса и про обед забудешь. Удивительная штука пestyш! Но и он не вечен. Прямой его стебелек с колечками жестких чешуек превращается в пушистую елочку с длинными разлапистыми сучками. И теперь он тоже никуда не годится. Когда выучилась Настя на агронома, то к великому удивлению всей деревни объявила, что пestyш — это обыкновенный хвощ, злостный сорняк. Что растет он на кислой земле и что эти места надо известковать. Настя и организовывала такое известкование: мужики возили на поля серую муку, разбрасывая ее лопатами. Хвощей после этого поубавилось, а сама агрономка и сейчас бегаёт за пestyшами каждую весну, ест их да еще смеется.

А уж когда всюду поперет настоящая трава, тогда и кислый щавель раскинет свои мясистые кусточки с красноголовыми столбанами посередине. Вдоль дорог вырастут сладкие титюшки, а в сырых местах — дудки, волосянки. Снимешь с них твердую кожицу — получится сахарная трубочка, мягкая и пряная. А еще лучше — петухи. Эти разлапистые, колючие, но сердцевина в них нежная, сладкая.

...Яков Иванович продолжал сидеть на крыльце. Солнце щекотало ему лысину, а перед прищуренными глазами — не потемневшие сугробы, а пестрый луг, полный цветов и питательных трав.

Сильные травы растут в здешних лугах. По пояс — это где угодно, а то и одна голова у человека виднеется поверх цветов, когда забредет он в это зеленое царство. Тихо идет человек по такому лугу,

потому что пьянеет он от перевозданной красоты и от дурмана.

Шел Яков Иванович по лугам, прикидывал в уме, далеко ли до сенокоса да заодно думал и сына встретить. Ушел в тот день Толька в школу в последний раз — получать свидетельство об окончании. Хотелось по-мужски с глазу на глаз похвалить сына, поговорить, как жить дальше. Долго ходил Яков Иванович в лугах. Солнце через зенит перевалило. Давно бы пора прийти сыну, ведь не уроки сегодня, а одна торжественная часть. И другой дорогой не мог он идти, нет другой дороги. От жары Яков Иванович пришел к реке, напился, сполоснул лицо, пошел по верху берега, поросшего редким кустарником. И что это? Неужто послышалось? Нет, точно, сыновний голос. Хотя и непривычный, ласковый очень, но его. Яков Иванович раздвинул ветки ольшаника — видит, сидят Толька с Настей под берегом на теплых камнях. На приличном расстоянии сидят друг от друга, а на лицах у обоих непонятные улыбки. В руках у обоих трубочки — аттестаты. Хотел было подойти к ним Яков Иванович, да застеснялся. Совсем уж большие ребята, чего им мешать. В колхозе все лето работают, считай, сами себя кормят. Да и разговор у них сейчас видно такой, что посторонним слушать не следует. Собрался Яков Иванович понезаметнее задний ход дать, но тут поднялись они, протянули друг другу руки.

«Ишь как у них. Договорились о чем-то», — подумал Яков Иванович.

— А можно поцеловать тебя, Настя? — срывающимся голосом проговорил Толька.

— Не надо, — жалобно пискнула Настя, а сама и руки опустила.

«Вон у них что», — повторял про себя Яков Иванович, все быстрее удаляясь от берега и пригибаясь

в высокой траве. Напрямки двинулся он к дому. И уже недалеко до гумен оставалось, когда вышла ему навстречу Евдокия. Кто ее знает, может, тоже дочку встречала. Задумчивая шла, а что сделала — вспомнить нелегко. Упала перед Яковом на колени и зашептала истушленно.

— Возьми меня, Яша, хоть сейчас возьми. Вместе нам жить надо, вместе, Яша-а!

И в слезы. Упала лицом в траву, спина ходуном ходит. Не скоро подняла голову, глаза большущие горят.

— Ведь давно я люблю тебя ненаглядного. Еще до свадьбы твоей. И ничего-то ты не знал. И с Иваном я мучилась...

Иван Удальцов уезжал на войну на одной телеге с Яковом. Сгинул без вести...

Опешил Яков Иванович перед Евдокией. Трудно соображалось в ту минуту. Потом пришли слова.

— Встань, Евдокия, — тихо сказал он. И она поднялась. — Поздно нам думать об этом, — рассудительно говорил он. — Вон уж дети наши женихаться начинают. Как им в глаза-то глядеть будем?

По щекам Евдокии струились слезы, но она молчала, слушала. А Яков Иванович пересказывал третий раз одно и то же, мучился, вздыхал. Только теперь ему стало ясно, почему Евдокия на собраниях или просто при встрече глядела на него такими жгучими глазами, почему подкармливала Тольку, старалась приворожить его к своему дому. Долго же молчала она! Яков Иванович переминался с ноги на ногу и пытался представить, какова была бы у него жизнь с этой гордой бабой. Не нравились ему ее исплаканные, горящие глаза, тяжело было бы в них глядеть да и перед другом Иваном неловко...

Разошлись они тогда с Евдокией да так и не сходились больше наедине. Утихла Евдокия, стала быст-

ро стареть. Однако и по сей день жива и не болеет вроде... А Якова Ивановича прихватило, ой крепко прихватило.

А дети? Что Толька, что Настя — давно выучились. От людей им почет. А судьбы настоящей и у них нет. Холостыми мотаются, а ведь обоим под тридцать. Не дело это, не дело.

...На солнышко набежало облачко. И сразу от снега, от луж потянуло холодом. Ветерок дохнул. Яков Иванович почувствовал, что ему полегчало, хорошо так полегчало. И нечего тут сидеть и киснуть. Идти надо.

* * *

Ноги, однако, были нетверды. Глянув на солнце, Яков Иванович поразился — оно было уже в зените.

«Эво, до обеда прогрезил, — снова встревожился он. — Нет, не к добру эти видения. Надо вызывать сына».

Почта размещалась в том же длинном строении, где был и клуб. Еще издали Яков Иванович приметил на фанерном щите свежий лист, исписанный крупными буквами, разглядел верхние слова — тематический вечер. И опять волна воспоминаний захлестнула его. Эти слова, точно так же написанные, крепко держались в его памяти вот уже два года. Шел он тогда и недоумевал, почему председатель наказал ему непременно прийти вечером в клуб, а зачем — не сказал. Ну да, тогда отмечали годовщину Победы. Была в разгаре весна. И вечер выдался теплый, только закат разгорелся что-то уж слишком огненно, будто напоминал о войне.

В клубе устроили торжественное собрание. Избрали в президиум всех деревенских фронтовиков, а и всего-то их осталось трое. Председатель почему-то указал Якову Ивановичу место рядом с собой. И еще тут сидел незнакомый майор с загадочным выраже-

нием лица. Громко и долго говорил майор. И слова у него были душевные и правильные, хотя выговор выдавал в нем человека, выросшего в другом краю России. О многом напомнил майор, и иные бабы уже заутирали глаза платками. Только что-то ни с того ни с сего принялся напирать майор на его, Якова Ивановича, деревню, на ее солдат. Помянул, кто и чем награжден за боевые дела, да назвал и фамилию Березина. Яков Иванович встрепенулся.

«Что-то путает, товарищ военный, — беспокойно подумал он. — Никаких орденов у меня не имеется. Обещал, правда, командир батальона к награде представить, да ведь только обещал, а сам погиб на глазах».

Яков Иванович хотел, было, встать и объяснить ошибку, но майор сам обернулся к нему и радостно так воскликнул:

— Награда наша героя!

В общем, получил в тот вечер Яков Иванович орден Красной Звезды. Майор долго привинчивал тяжелый орден к пиджаку растерянного Якова Ивановича: дырочка-то на лацкане не была проделана загодя. А потом майор рассказывал, за что награжден Яков Иванович и почему так долго искала его награда. Вроде бы и правильно он рассказывал. Но Яков-то Иванович знал все это лучше. Только не нашлось у него слов, когда потребовали его люди на трибуну.

Вышел Яков Иванович, ухватился за края шаткой трибуны. Ноги у него подрагивали, а голоса и вовсе не было. А когда попришел немного в себя, когда неловко стало слушать, как в зале то и дело принимаются хлопать в ладоши, кричать ему, чтобы не робел, тогда решил сказать что-то не очень краткое, а вышли у него негромко всего три слова:

— Служу Советскому Союзу!

Сказал и понял, что больше уже ничего не сказать. И пошел на свое место взволнованный, а рука сама собой шарила по пиджаку, нащупывала и гладила жаркую звезду, посередине которой серебряный красноармеец крепко держал в руках винтовку. А рассказать можно бы много. Только все ли было бы понятно набившимся в зал людям? Вон тут сколько усмешливых девчонок, у парней тоже глаза какие-то несерьезные. Бабы — что от них проку. А фронтовиков в зале нету. Сидят, правда, рядом двое, по плечам Якова Ивановича похлопывают, поздравляют. Эти бы все поняли. Но им и после можно рассказать.

Да и как было говорить в такой торжественный вечер, что считался Яков Иванович на фронте самым обыкновенным солдатом. Слушал он речи политруков и чувствовал, что все они говорят правильно, да и сам понимал, что кто же, кроме него, Якова Березина, должен защищать свою деревню, свой колхоз, свою страну. Старался Яков, только геройства у него не получалось. Во взводе уже половина бойцов ходила с медалями, у иных по три-четыре накопилось. А у Березина — ничего.

Особенно тяжело было отступать. А отступать приходилось немало, оставляя такие же деревни, в какой вырос сам. До родного села было еще много сотен верст, но расстояние это становилось все меньше. И оттого сильнее закипало в груди. Каждый горящий или разбитый дом, мимо которого приходилось идти, казался Якову родным. И нельзя больше было видеть, чтобы горели еще дома, чтобы еще хоть полверсты земли отошло врагу. А приказ — опять отступать.

...Отступать можно было только вдоль озера, где виднелась хоть и плохонькая, но дорога. С севера — это самое озеро почти до горизонта, с юга — болото,

в которое и соваться было нечего. На возвышенном берегу еще вчера стояло немалое село, сегодня в прах выжженное вражеской авиацией. Даже церковь на кладбище была наполовину развалена. Выйдя к селу, остатки батальона оказались в отрыве от немцев. И никого уже не было между этим расстроенным батальоном и лавиной фашистской мотопехоты. Держать здесь оборону — значило погибнуть и открыть дорогу врагу. Надо было отступать вдоль озера, растягивая за собой силы врага на узкой и топкой дороге, оседлать ее накрепко в удобном месте. Тогда и этот потрепанный батальон сможет удержать крупные силы врага. Комбат, низенький капитан, разъяснил:

— Чтобы батальон отступал в порядке, надо задержать гадов у этого села хотя бы на несколько часов. Оставим прикрытие. Добровольцы есть?

Яков Иванович первым шагнул вперед. За ним молча выходили другие. Вот их уже пятнадцать.

— Хватит! — крикнул комбат и побежал показывать, где лучше отрыть ячейки, установить пулемет.

Жидкая колонна батальона поползла по прибрежной дороге в лес. Время приближалось к полудню. Яков Иванович, устроившись в ямке возле кирпичной кладбищенской ограды, жадал.

В лицо дул резкий западный ветер, разносящий запах гари, наполняющий тело решимостью.

«Пусть простят меня жена и сын, если погибну но эта деревня последняя, из которой я уйду», — четко отпечаталась мысль. И мозг с необыкновенной быстротой начал отмечать, что надо сделать, чтобы удобнее было стрелять, если цель появится вон у тех кустиков, у того рыжего бугорка, в котором непременно должна быть лисья нора, если фашисты просочатся вон в ту обезлесевшую лядинку. Он примял перед собой лопухи, разложил, где надо для упора, обломки

кирпича и стал ждать, готовый ко всему. Ну и точно: вон они, идут, прямо по дороге шпарят. Сейчас должны рассредоточиться, если не дураки и не пьяны. И верно, разбегаются по кустикам и за тот самый бугорок. Боятся. А Яков Иванович уже не боялся их. Он спокойно взял на прицел склон бугорка.

Отрешенный от всего, кроме этого бугорка, Яков Иванович словно и не слышал, что его товарищи уже стреляют и что над его головой с противным писком проносятся пули. А вот и серая фигурка врага у бугорка. Яков Иванович выстрелил и хорошо видел, как фигурка нелепо дернулась и исчезла. Машинально сработав затвором, почти на том же месте сразил второго.

«Попал!» — радостно отмечал он про себя, а сам стрелял и стрелял, слыша, что прицельно по нему не бьют и что враг его не видит. У бугорка пусто. Зато Якова Ивановича охватила тревожная злость, когда он увидел, что левее, по лядине, немцы бегут густо, не падая. Их поддерживали пулеметы и закрывал своим широким туловищем приземистый танк. Яков Иванович выстрелил пару раз по танку и понял, что это без толку. А танк развернулся к нему лбом и послал снаряд прямо в кирпичную ограду. Якова Ивановича оглушило и присыпало красной пылью. Онемела спина. Выпала из рук винтовка. Ясность сознания приходила мучительно медленно. Он с трудом поднял голову, упираясь дрожащими руками в землю. Сквозь лопухи он заметил, что танк несется прямо на него. Да, отсюда танк вполне мог зайти в тыл жидкой русской обороны и отрезать ее от кладбищенских зарослей.

Отстегивая гранату непослушной рукой, Яков Иванович с холодной ненавистью глядел на бронированное чудовище. Он понял, что танкисты, предполагая здесь огневую точку, все же не видят его и что

он поэтому сильнее их. И когда до танка оставалось не больше двадцати шагов, Яков расчетливо бросил гранату, тут же скатившись на дно канавы и слыша, как над ним полоснула короткая очередь. Мотор заглох одновременно со взрывом. Яков Иванович подался вперед. Танк казался безжизненным, но не горел и повреждений на нем не было видно. Яков Иванович выдернул предохранитель второй, последней гранаты, нарочно подержал ее секунду в руке и кинул точно на башню. Опять упал лицом в землю и тут же приподнялся. Теперь он видел, что под танком копошились двое. Он несколько раз подряд выстрелил в припавшее одно к другому тела врагов.

«Эти не вояки», — подытожил он и пополз по лопухам влево, где стрельба была особенно частой. Он опоздал. Горстка его товарищей, бросая гранаты, шла в атаку, выбивая немцев из лядинки. Замолчали пулеметы. Враг отступил.

...Их осталось пятеро. Они не знали, скоро ли будет вторая атака фашистов, но готовились к ней. Сменили ячейки. Перетащили к ограде пулемет и оставили его Якову Ивановичу. Надо было выполнять задачу до конца. Оказалось, что бой длился всего несколько минут, хотя думалось, что прошел не один час.

Враг, видимо, понял, что фронт атаки узок и напрямиком тут с ходу не пройти. На полоску земли, занятую остатками прикрития, стали с воем шлепаться мины. Пятеро не видели друг друга и не знали, кто остался в живых. Отчаянная мысль не давала покоя Якову Ивановичу. Он давно приметил, что метрах в сорока впереди, на углу ограды высится кирпичная башенка. Он знал такие башенки, похожие на крошечные часовни, знал их полуторааршинной толщины стены, помнил, что во все стороны из этого тесного чуланчика должны быть прорублены узкие оконца, вроде бойниц, а со стороны кладбища — вход.

Слева и спереди вздымалась плотная стена разрывов. Но мина запросто могла накрыть его и в этой яме. И Яков Иванович пополз, волоча за собой пулемет и ящик с лентами. Никто не видел его сейчас, ни свои, ни враги, да и не смогли бы разглядеть в этой рывкающей кутерьме. Из воронки — в воронку, минутная передышка — и новый рывок. Вот и часовенка. И лаз в нее прямо перед глазами, с тыла. Яков Иванович заполз внутрь и установил пулемет. Получалось, что он может вести обстрел и в лоб, и во фланг, если немцы близко подойдут к линии обороны.

Да они уже и шли, бежали. Там, где только что сидел Яков Иванович, где остались четверо бойцов, все еще рвались мины. Туда же строчили бегущие автоматчики. Яков Иванович в своем каземате не слышал почти ничего, кроме сплошного гула и не знал, отвечают ли огнем его товарищи. Надо было спешить. Приладившись к оконцу, он начал бить по тем, кто бежал впереди.

— Есть, есть покойнички, — шептал он и скупно посылал короткие очереди. Фашисты залегли. Теперь стало слышно, как часто шлепают о кирпич часовенки вражеские пули. Еще и еще стрелял, и дал отдохнуть накалившемуся пулемету, когда понял, что и эта атака отбита. Выглянул из часовенки и не узнал позиции, которую занимало прикрытие. Все там было взбугрено, и ни души.

— Значит, один остался, — зло сказал себе Яков Иванович. — Один так один. Но не уйду, пока не залетит в это оконце пуля, предназначенная мне, если есть у немцев такая пуля.

Он настороженно ждал и жадно глядел на клочок луговины перед самой часовенкой. Клочок, вот именно никудышный клочок. А ведь наш. И как же его можно оставлять? Ведь из таких клочков, плодород-

ных полей и могучих лесов и складывается то, что зовется родной землей.

На луговине перед часовней лопнула мина, по стене царяпнули осколки. Но часовенка стояла прочно.

И вот они снова идут. Осторожно теперь. Припадают за кусточки.

«Близко пускать нельзя, а то обойдут и крышка», — решил Яков Иванович. Он послал в сторону врага длинную очередь. Серые фигуры замерли. Глянув в левое оконце, Яков Иванович вадрогнул. Так и есть, его обходили. Вот куда надо было бить. Потребовалось немало очередей, чтобы заставить немцев отползти в низину. Теперь Яков Иванович судорожно метался от одного оконца к другому. И перестал верить своим глазам, потому что впереди виднелись лишь трупы и ничего живого. Он жадно вдыхал туманный прохладный воздух, перемешанный с пороховым дымом. Выполз из часовенки, чтобы оглядеться получше и почувствовал непреодолимую усталость. Но рядом на кладбище глухо разорвалась мина, и он ловко юркнул в свою спасительную крепость. Мины ложились нечасто, но все ближе к часовенке. Ждать новой атаки было жутко. Не отступит же враг перед одним рядовым Березиным. Ожидание становилось невыносимым.

«А ведь я на данном участке фронта самый главный воин! — гордо подумал Яков Иванович. — Не будь меня или струсь я, сколько родной земли заполонили бы еще фрицы! И я еще подержусь. Пусть генералы думают, как позиции укрепить. Должны придумать. За эти часы, пока я тут бьюсь, много можно сделать».

Настроенный на торжественный лад, Яков Иванович не сразу заметил, что в часовенке стало темно да и за оконцами сгущалась вечерняя синева.

«Кажись, выполнил задачу, — подумал он и

тут же встревожился. — А ну как меня все же обошли? Или не могли? Вроде нет никакого пути фрицам к лесу, кроме как мимо меня. А мимо не прошли. Однако ночью могут запросто подкрасться и прикончить. Надо уходить».

Яков Иванович почему-то был уверен, что немцы не пойдут ночью вдоль озера по толстой дороге. Так что сидеть ему тут нечего. Он прихватил винтовку и пулеметный затвор, выполз на кладбище и ходко, насколько хватало сил, двинулся вслед ушедшему батальону. Уже в утренних сумерках его окликнуло боевое охранение.

На отдых ему дали два дня. Но и в эти дни комбат не раз вызывал его и все расспрашивал, докапываясь до мелочей.

— Представляю к ордену, — сказал он наконец. — Хоть и повезло тебе, но действовал ты грамотно. Подтверждение есть.

Счастливый ушел от комбата Яков Иванович. Радовало и то, что кончилось вроде отступление. Но на этом рубеже погиб в тот же день комбат. А Якова Ивановича повезли в тыл с разбитой рукой. Лечили больше года.

Он и вспоминать-то давно забыл про обещанную награду.

...И вот он, орден. Через двадцать-то с лишним лет! Видно, успел сделать запись комбат о том, что надо наградить рядового Березина. Можно ли так-то рассказывать людям об этом бое? Наверное, можно. А не сумел.

* * *

В этот раз Якова Ивановича вернул к реальности председатель.

— Что, Иваныч, прихворнул? — председатель уселся рядом на завалинку клуба.

Странный какой-то этот председатель. Не солидный, что ли. Как засмеется — совсем парнишка. Конопатый, роста небольшого и в кости не широк. И одевается как попало. Вот и сейчас на нем замасленная кепчонка, на самые брови надвинута. Распахнут зеленый плащ-болонья. Бьет белизной воротник рубашки, а галстука нет. На лацкане поблескивает зеленый академический ромбик. А на ногах председателя литые резиновые сапоги. Веселый уж он больно и самоуверенный. Не поймешь, за что его хвалят и отчего дела в колхозе двинулись при нем в гору.

— Прихватило, — неохотно ответил Яков Иванович. — Погода действует.

И вновь удивился, что чем-то неуловимо схожи председатель и его сын.

— Послали трактора-то за соломой?

— Послали.

— Сколько?

— Два.

— Штук пять надо было.

— Что это ты так решил? — Председатель улыбнулся. — Не одной соломой живем. Лес надо возить. Линейку готовности требуют.

— Можно и без парадов. А к соломе завтра не подъедешь...

— Да ведь должны же быть еще утренники!

— Молод ты, погоды не чуешь. А я тебе точно скажу, что дождя надо ждать. Вот из этого и рассчитывай тактику.

— Верно, надо рассчитывать на худшее, но ведь и риск возможен. Так ведь? — оправдывался председатель с азартом молодого спорщика, и непонятно было, принимает ли он старика всерьез или разговаривает с ним из вежливости.

— И рисковать надо с расчетом, — сердился Яков Иванович.

— Подумаю. Не за сто верст трактора.

— И подводы следом послать, чтобы все ключья подобрали.

— Лежал бы ты лучше! — председатель пристально оглядел старика. И вдруг беспричинно засмеялся, вскочил, энергично потопал сапогами, помахал руками, словно зарядку делал, и кинул свое легкое тело в машину. Видимо, весна будоражила его. Газик, глубоко прорезая талый снег, рванулся вдоль деревни.

Яков Иванович подал телеграмму. Почти час сидел в столовой, но обед так и не доел. Мутило. По дороге к дому раза три отдыхал.

Он пролежал уже два дня. Приходила Евдокия и молча топила печь. Давно все было сказано между ними. Яков Иванович, проваливаясь в дремотное забытие, думал в минуты ясности о сыне, о людях, с которыми прожил жизнь. Есть же что-то между Анатолием и Настей, а что — не поймешь. Теперь молодежь объясняется не так, как раньше на беседе, когда парень у своей девки и кужель на прялице подпалит из озорства, и на колени ей сядет. А если в танце-чижике выберет она его, то всем и ясно — любовь. А теперь не поймешь.

Каждое лето приезжает сын в отпуск. Хвалится еще, что в любой дом отдыха, а то и в санаторий может путевку достать. А тянет его в деревню. Тут уж они с Настей в открытую по вечерам встречаются, а то и днем она не постесняется его на работу послать, а он и не отказывается. По глазам видно, что думают они друг о друге. Ласковые глаза-то, задумчивые.

И зачем послал сына учиться на строителя? Верная это оказалась дорога в город. Но ведь теперь и в деревнях не меньше строят. А почему он не женится? Ведь и в городе, поди, кавалер не из последних. И Настя в девках сохнет. Что же у них такое?

Многое непривычно и непонятно стало. Девки после десятилетки идут в доярки. Когда это бывало? Никогда. Механизацию на фермах завели, эти самые доярки в белых халатах, словно доктора, ходят. Заработки у них — здоровому мужику столько не зарабатывать. Разве только механизаторы вровень с ними идут по заработкам. И тоже в большинстве парни молодые, здешние, ученые. С шуточками работают.

...Есть теперь сила в колхозе. А людей маловато. Каждый на учете, к каждому ласковый подход нужен. Шестнадцатилетних пареньков по имени-отчеству председатель величает.

А ну-ка сын возглавил бы тут строительство, или по части машин дали бы ему власть...

* * *

— Толя, родной, ты ли? — волух проговорил Яков Иванович и очнулся. На его лбу лежала широкая прохладная ладонь сына. — Приехал? — Старик слабо улыбнулся.

Он попытался подняться и не смог. Сын подхватил его.

— Окна, окна отвори, — беззвучно шептал Яков Иванович. — Душно мне...

Анатолий с треском распахнул одно окно, другое. Но легче отцу не стало. Через минуту он попросил:

— На крыльцо бы мне... На воздух.

Анатолий бережно поднял исхудавшего отца, понес его через сени. На просторном крыльце, облитом солнцем, было тепло. Торжествующе орали грачи в палисаднике. Мажорная музыка весны заливала деревню... Анатолий долго держал на руках холодеющее тело отца.

...Нет, не все знал Яков Иванович о своем сыне. Не замечал он, что росло в душе сына что-то новое,

о чем он и сам пока не мог толком рассказать. Еще год тому назад, когда Анатолий вышел утром с корзиной грибов к льняному полю, его поразило это голубое нежное море. «Лен, лен, лен, кругом цветущий лен...» — вдруг запел он взволнованно. Что-то оборвалось у него в груди, и он заплакал. Анатолий долго пытался разобраться в происшедшем, да так и не мог понять, почему это случилось. К льняному полю больше не ходил, опасаясь, что новая встреча с ним может разрушить то впечатление. А может, он и боялся идти туда, потому что нахлынувшие тогда чувства были сильнее его душевных сил, и он не знал, что будет во второй раз.

Рассказал он об этом лишь Насте, хозяйке льна.

— Я, наверное, льноводом был рожден, — пытался он шутить. — Вот ведь что странно: городская работа меня увлекает, иногда поглощает целиком, но не берedit душу вот так, до боли, до слез, как этот лен, это твоё поле.

— Хорошо, что у тебя душа не совсем иссохла. — Настя поцеловала Анатолия и спрятала лицо у него на груди.

— Не передумала? — мягко спросил он.

— Нет.

— А любишь?

— Люблю! — Настя подняла заплаканное лицо. — И ненавижу я тебя. Делай, что хочешь, только оставь меня здесь. Маму мне жаль. Хватит того, что она перед отцом твоим унижалась. Я за тобой не побегу.

— Глупо, Настенька!

— Какая есть! — сухо ответила она. — В городе поразвитее найдешь.

Вот так и расстались они год назад, не во всем понимающие один другого, но совершенно не способные изменить друг другу.

У самого края могилы они стояли рядом: председатель и Анатолий. Председатель первым сказал прощальную речь. Потом еще говорили, скупно, с долгими паузами. Вечером были поминки, а после них тяжелые слезы Анатолия. И Настя плакала рядом.

И вот утро. Первое сиротское утро. В избе прохладно. Промозглый воздух, застоялся в углах. Отпускные дни у Анатолия кончились. Надо было что-то решать.

А по улице шла весна. Распахнув окно, Анатолий отшатнулся. В лицо ему ударил чистый и сладкий воздух. Бодрящий холодок пробежал по телу. Нет, до настоящей бодрости было еще далеко, в груди еще ворочалась глыба боли и казалось, что эта боль никогда не пройдет. Но жить хотелось.

Сильное тело Анатолия стремительно вбирало опьяняющий аромат весеннего утра. Что-то новое, требовательное зарождалось в душе. Оно росло. И если бы он попытался сравнить с чем-то это впервые посетившее его ощущение, то оказалось бы, что сравнить его не с чем. Разве что с грезами детства. Но то были грезы... Здесь же что-то очень твердое, реальное. Казалось, стоит сделать еще одно усилие, и он шагнет туда, где человека наполняет большое, нелегкое, но такое необходимое счастье зрелости. Но как сделать этот шаг?

А под окнами, в палисаднике, как на обширной строительной площадке, стоял разноголосый шум и треск. Грузные грачи, отливая вороненой сталью перьев, тяжело пробивались сквозь кроны берез, крепко держа в беловатых, словно бы мозолистых от работы клювах крупные прутья. Кар-ар! Совсем как раз-два взяли! И прут положен на место, в каркас будущего гнезда. В дуплянках шебуршились скворцы, с азартным писком выкидывая из них старый хлам.

А вдоль изгородей, в тени, таяли последние сугробы. Дружно плакали умирающие сосульки. И еще холодная, но живая влага копилась в ямках приствольных кругов.

Анатолий стоял у окна, облокотившись на подоконник. Все это весеннее торжество было видано им много раз, но еще никогда не поражало его столь резкой яркостью.

Напротив дома затормозил председательский газик.

— Поедем смотреть наше строительство! — крикнул Анатолию председатель, широко улыбаясь, словно он и не горевал вчера на похоронах вместе со всеми.

Анатолий помял в руках рюкзак, который надо бы собирать и увязывать перед дорогой в город, и вдруг бросил его с размаху на полати. Чувствуя, как утихает боль, он шагнул навстречу председателю.

ФЕДЬКА-ПИСАТЕЛЬ

ПОМНЮ, словно это было прошлой зимой... В заброшенной избе жуткий сумрак. Гудит холодная, как лед, печная труба. Ветер свирепо завывает, ударяясь о голые стропила. В синие квадраты окон, из которых вышиблены вместе со стеклами и рамы, залетает колючая снежная кутерьма. Порою слышно, как подрагивают даже стены. И тогда кажется, что это не изба, а что-то живое, примерзшее к земле и изнемогающее в борьбе с нескончаемой февральской вьюгой.

Мы сидим в избе уже не первый час. Носы у всех хлюпают. Кто-то кашляет, будто дрова колет, до слез, до острой боли в груди. Деревенеют руки, но никто и не думает собираться домой. Здесь хоть до утра мож-

но просидеть, если Федька в настроении. А он заводит:

— Робя, давай новую песню про всю деревню сочинять. Старая надоела. Начнем с того конца. Вот так.

В том конце, на том посаде,
Есть высокая гора.
Там кататься нам негоже,—
Живет Марья краснорожа.

Кто дальше?

По голосу Федьки слышно, что ему самому по душе первый куплет — здорово подцепил Марью. На том краю деревни действительно высокая гора, вернее — крутой склон к ручью. Начинался он от загоры Марьи Гусятниковой, здоровущей краснолицей бобылки. Когда мы приволакивались на гору со своими самодельными санками и лыжами, Марья, если оказывалась поблизости, неслась к нам по снежной целине.

— Ироды! Хулиганье безбашенное! Весь частокол переломали! — орала она. И не дай бог кто-то замешкается в сугробах — а обледенелые валенки как раз в такие моменты выскакивали из ремешков — Марья лупила того по чем попадя. Мы на нее не обижались, помнили, что каждый из нас выломал из ее огорода не один десяток частоколин, а цену частоколинам тоже знали, на себе таскали их из выгороды.

— Ну? Кто че придумал? — торопит Федька.

— Есть у Марьи кочерга! — дурашливо выкрикивает кто-то в темноте, наверняка вспоминая о своих синяках.

— Ага! — тотчас подхватывает Федька. — Есть у Марьи кочерга — тут живет Иван Карга.

Воодушевление растет. Кто не знает Ивана Каргина! Мужик страховидный и молчун. За это и Каргой прозвали. У него шестеро дочерей погодков. Иван

не разрешал жене покупать для дочерей обувь. Считал, что и так вырастут, дешевле обойдутся, сам рос босым.

— Че про Ивана скажем? — Федька уже в центре ватаги и в темноте видно, как горят его нетерпеливые глаза.

-- Не надо бы девок ихних обижать, но в песне должна быть правда, — вслух рассуждает он. И нам всем кажется, что сочинять надо только правду, чтобы нельзя было из песни слово выкинуть. Федька переводит дух и декламирует:

— У Ивана все босые — тут живут одни косые!

Ребятня валится от хохота на пол. Не фасонится и Федька. Одни косые — это две сестры и брат Опросичевы, соседи Карги. Всем им уже за тридцать, все немножко с косинкой в глазах.

— А дальше как, Федька? — насмеявшиеся пацаны дергают его за рукава, ждут новой потехи.

— Дальше так:

У Опросичевых — баня,
А за ней — Чижова Таня.
Тане надо Якова,
Дальше — Груня Шмакова.

Ребятня помирает. Особенно оттого, что «Тане надо Якова». Татьяна Чижова — женщина пожилая и одинокая. В деревне ее считают человеком культурным: как же, в городах жила. Но в войну как приехала, так и застряла тут в родительской избушке, притулившейся на задах. Бабы любили Татьяну за обходительность и душевные разговоры. Она под большим секретом рассказывала всем им, как в молодости влюбилась в начальника по имени Яков и какой этот Яков был красивый, характером добрый и что она бы с ним только и могла жить, а больше ни с кем. Яков об этой любви ничего не знал да и зате-

рялся он где-то в военные' годы. Наверное, мечты о Якове — а вдруг он вспомнит о ней и нагрянет в деревню — и были главным в жизни Татьяны Чижовой. Никто над ней не смеялся по этому поводу. Разве только мы, пацаны, да и то втихомолку.

...В избе восторженный рев. Даже вьюги не слышно. Однако кое-кто из ребят смолкает и словно бы принимается тосковать. Дело ясное — очередь в песне подходит к его дому, а слушать, как осмеивают твоих родителей и тебя самого, вроде бы и не хочется. Но Федька был человеком. Как только такая очередь подходила, он первым предлагал вовсе необидные, а то и лестные слова. Помню, о нашем доме он мигом сложил строчки:

У Степановых — крыша нова,
Дальше...

И речь пошла уже о наших соседях. Не очень складные получались стишки, зато все в них было верно. На нашей избе крыша действительно была перекрыта новой дранкой и это было заметным событием в те послевоенные годы.

Ну как было не любить Федьку. Оттого и считался он нашим заводилой и атаманом. В любую минуту, хотя бы и в разгар складывания песни про деревню, Федька мог круто сменить пластинку, кинуться куда-то с призывным криком, и вся наша орава срывалась с места, зная, что сейчас будет что-то до невозможности бедовое.

Под предводительством Федьки мы опустошали чужие огороды. Набитые огурцами, морковью и яблоками карманы разгружали где-нибудь за сараем, за поленницами дров. А те же самые огурцы и яблоки из своих загород нас почему-то не интересовали.

Особенно забавные и дерзкие вылазки Федька предпринимал в святки. Он был еще маловат для то-

го, чтобы ходить вместе с ряжеными. Поэтому действовал по-своему. Ночью у избы, хозяева которой славились крепким сном, обливал водой крыльцо до тех пор, пока над ступеньками не выростала раскатыстая горка. Развешенное в заулках белье набивал соломой из завалин и расставлял вдоль улицы «человечков». Забавы эти были рискованны. За них запросто можно было схлопотать засовом поперек спины. Поэтому Федька брал с собой всего одного или двух дружков поухватистее, умеющих и промолчать при случае.

Больше всего досаждал он своему соседу — бригадиру, недавнему фронтовику-разведчику, сохранившему еще военную выправку и гвардейскую лихость. Откроет утром дверь бригадирова жена, а на нее валится соломенное чучело, одетое в мужнины исподние. А то и вовсе из дому не выбраться: дверь санями-розвальнями приперта.

Цельми днями не стихали в деревне пересуды. Кто смеется, а кто и в обиду ударяется. Мужики грозятся подстеречь хулиганов, оборвать им уши и набить в штаны снег. Но это они только так: мужику всегда по душе мальчишеское озорство.

Однако бригадир, которого жена пилила за Федькины проказы, заявил:

— Задача ясная. Надо немедленно пресечь диверсии мелкого противника. Боевое задание беру на себя.

До полуночи караулил бригадир деревню в последний день святок, прислушивался, заглядывал во все закоулки. Тихо кругом. А как глянул в свой двор, так и затрясся. Имелась у него резервная поленница дров, давненько стояла она под дворовым навесиком, а в эту ночь взяла и ушла от дома шагов на двадцать, в самые сугробы. Только те поленья и остались на месте, что к земле примерзли.

Федька потом рассказывал, какие словечки выкрикивал в ту минуту бригадир. Разгадал Федька и коварный план бывшего разведчика по поимке озорников. Поругался бригадир, махнул рукой и скрылся в доме. Помигал у окна огнем, будто спать ложился, а сам разыскал ременный кнут и уселся в сенях подглядывать за улицей в кошачье окошечко. А, надо сказать, что в избу бригадир попадал с улицы по стремянке — старое крыльцо он развалил еще по осени, а новое поставить не успел. Долго ли коротко ли, услышал бригадир шорохи. Беззвучно шагнул бывший разведчик за порог...

Об этом случае бригадир не любил вспоминать. Шагнуть-то он шагнул, а стремянки как не бывало. Брякнулся бригадир на мерзлую землю у родного порога. Крепко ушибся, но сторяча бегал по деревне еще с полчаса. Как попадал без стремянки в избу, об этом никто не знал, даже Федька, который к тому моменту уже лежал у себя дома на печи. Зато утром он не отказал себе в удовольствии понаблюдать, как добывает стремянку бригадир с крыши собственной бани.

Были у Федьки и такие дела, на которые он ходил в одиночку. Летом укрывался в ближних малинниках, вымазывал лицо глиной, раздевался до трусов и ждал. Когда в малинники набивалось с десятков девок и малых девчонок, Федька взывал дурным голосом и ломился к ним, не разбирая дороги. Визг поднимался неопиcуемый. Девчонки с воем неслись к деревне, теряя гребенки и платки. Страдали при этом от крапивы и Федькины бока, но эффект операции во много раз превосходил эти мелкие издержки.

Федька, видимо, понимал, что его выходки не должны быть частыми и похожими одна на другую. Поэтому он редко поддерживал наши неоригинальные затеи. Зато песни про всю деревню можно было

складывать заново хоть каждую неделю. И они получались одна смешнее другой. И, бывало, бабы потешались, пересказывая корявые, но такие меткие и уморительные строчки. Находились шутники, которые тайком просили Федьку сочинить про кого-нибудь похлеще. Федька в таких случаях долго и притворно отнекивался. Он упорно отказывался от известности.

Однако новые строчки появлялись, авторство раскрывалось. Оттого и прозвали Федьку писателем.

Многие лелеяли злую мечту проучить насмешника. Многие же и любили его. За Федькой числилось немало дел, которые, по тогдашним нашим понятиям, считались подвигами... Взбесился в июльскую жару деревенский баран. Разогнал мелюзгу, кое-кому поддав под зад, сорвал веревку с бельем и истолок в пыли простыни Татьяны Чижовой. А потом залетел в колодец. Там, в ледяной воде и темени, баран поостыл и орал вполне повинным голосом. Баран был нужен деревне, да и нельзя было допустить, чтобы пропадала скотина среди бела дня на глазах людей и вдовавок поганила колодец. И тут выручил Федька. Цепляясь за подгнившие пазы сруба, он потихоньку спустился до самой воды, обмотал барана веревкой, а сам тем же манером подался наверх. Теперь вытащить барана было нетрудно. Долго дрожал баран всем телом, отлеживаясь тут же возле колодца. И характер у него после такого конфуза переменялся к лучшему. А Федька словно и не слышал похвал, будто слазить в колодец ему ничего не стоило.

Мы уважали Федьку еще и за справедливость. Как-то один пацан, желая перещегоолять атамана в дерзости, ночью выкосил в загороде безобидной старухи кусты смородины и на грядки нагадил. Старуха расстроилась до слез. Подозрение пало на Федьку, но он не оправдывался, а гордо молчал. Зато когда вред-

ный мальчишка пристал к нашей ватаге, Федька, словно взрослый, вывел его из круга за ухо и сказал:

— Ты к нам не подходи, пока не посадишь старухе смородину.

Подленький оказался пацан. Смородину он не посадил, но и к нам подходить боялся. Старуха собралась заявлять в милицию. Но тут с Федькой и стряслась беда, заслонившая на время все деревенские новости и события.

У риги молотили пшеницу с семенного участка. Невелик был участок, и снопы с него пропускали не через большую тракторную молотилку, а запустили старенькую, от конного привода. Федька погонял лошадей и в обеденный час задержался у риги, чтобы растолковать сбежавшейся ребятне устройство механизма. Невыпряженные кони хрупали овсом, а ребятня лазила, где только можно было пролезть, гладила теплые железяки. Была тут и шестилетняя дочь бригадира. Из-за нее все и получилось.

А может, и не из-за нее, а из-за мотоцикла, на котором неожиданно выскочил из-за угла риги бригадир. От режущего мотора вскинулись в испуге кони. Сбитая дышлом, покатила к ним под копыта девчонка. Всех хватил столбняк. Кто-то пронзительно визжал. А Федька не растерялся. Птицей кинулся он к девчонке, подхватил ее и успел еще вспрыгнуть на жестяной круг, прикрывающий центральную шестерню привода. Но здесь, с ношей в руках, на крутящейся гладкой жести он не устоял. Нам показалось, что мы слышали, как хрустели в стальных зубьях шестерен Федькины кости...

Ребята обмерли. Но бригадир коротким взмахом рук остановил лошадей, поднял Федьку и бегом отнес его под навес, на чистые мешки. Бледный, он рвал на себе выгоревшую гимнастерку и закручивал на Федькиной ноге жгут. Мы высвободили из Федьки-

ных рук оцепеневшую, но совершенно невредимую девочку.

В тот же день Федьку увезли в больницу. Рассказывали, что ему там сделали операцию и что ходить он будет. Бригадир чуть не каждый день мотался в больницу на мотоцикле. Видимо, он понимал нас, этот бригадир, потому что, вернувшись из очередного такого рейса под хмельком, он уселся посреди нашей осиротевшей ватаги и долго говорил о Федьке.

— Что я его с кнутом сторожил, так это пустяки, я бы его не ударил, — уверял он. — А что он мою стремянку уволок, так это даже к лучшему: дал понять, что бригадиру надо приличное крыльцо иметь, к нему народ ходит. — И бригадир ударился в воспоминанья. — Да и мы в молодости ой как озоровали. Куда вам до нас. Самый-то хулиганистый из нашего брата высшее образование получил, прокурором работает... А жаль Федьку. Это на фронте, в бою, в зрелые годы не обидно инвалидность заработать, а тут... Да... Из него бы и не прокурор вышел, а сам народный судья... Да еще и выйдет, — убеждал нас бригадир. А мы не сомневались, что так и будет.

— Худо только, если его, безногого, девки обегать будут. Вам это непонятно еще, а я думаю. Но уж если станут обегать, то я, придет время, своей дочери прикажу за него идти... Если с умом вырастет девка.

Мы слушали и не смеялись.

Федьку привезли в деревню глубокой осенью. Он учился ходить с палочкой и болезненно улыбался. Говорил мало. Больше сидел у окна и что-то записывал в тетрадь.

— Что пишешь, Федя? — интересовались мы.

— Стихи, — не сразу признался он.

— Про всю деревню?

— Нет... о жизни... и так, вообще...

Тот год он в школу не ходил. А мы закончили семилетку и разъехались учиться в города. Года два мы еще встречались с Федькой в каникулы, но как-то мельком. Разными становились мы людьми. Федька грезил стихами и считал, что мы в них ничего не понимаем. Наверное, он был прав. А потом и Федька исчез из деревни. Всех нас, друзей по ватаге, судьба разбросала по разным краям. И с годами стали забываться друзья детства.

Но вот в оглавлении одного толстого журнала я прочел под рубрикой «Поэзия» фамилию — Ф. Серебряков. И словно электрическим током ударило по рукам. Быстро нашел я нужную страницу, но с нее на меня глянуло конусообразное лицо с тяжелым обвислым носом. Нет, это не Федька. Наш товарищ был круглолиц и скуласт. И нос у него глядел кверху.

Он не мог не стать хорошим, нужным людям человеком. Но где и кто он сейчас, Федька-писатель?

АМЕРИКАНСКИЙ ПИДЖАК

ВРЕМЯ было не раннее, но и не обеденное. Как раз такое, когда пунктуальная почтовая кобыла успела отмерить мослатыми ногами двенадцать верст от райцентра, в деревне уже откосили росу, хозяйки истопили печи. В этот час и раздался на улице призывный крик:

— Бабы-ы! Посылка нам пришла! Из Америки! Вот диво-то! Посмотрим, бабы-ы!

Это скликала народ Марья Левина, председатель сельсовета, а попросту — Левиха. Босая, она металась по крыльцу, размахивая невеликим куфтырем, обтянутым мешковиной, а другой рукой шарила по подолу, стараясь собрать на нем складки так, чтобы не было видно прорех.

От ближних домов подошли женщины. Наперегонки мчались ребятишки. Невдалеке под ивушкой проснулся колхозный счетовод Демьян, прозванный Кимряком за то, что обучался он когда-то сапожному ремеслу в Кимрах. Он еще вчера обсоюзил кому-то сапоги для покоса и оттого был с утра под хмелем.

Кимряк мигом оценил обстановку и двинулся на зов Левихи. Передвигался старик-калека на потрескавшейся липке, туго пристепнутой к поясу: сначала выкидывал вперед единственную ногу (другую ему отрезали после того, как он поранил ее шилом и случилось заражение), крепко ставил каблук сапога на землю, потом, упершись позади липки молотком, зажатым в руке, приподнимал вместе с липкой туловище и бросал его на аршин вперед. Получался шаг.

У крыльца собралась редкая толпа. Кимряк с ходу пробился сквозь нее к приступку.

— Давай-ка, — протянул он к посылке длинную в синих жилах руку, а сам уже вытаскивал из-за сырсыятого ремня, опоясывающего липку, сточенный углом сапожный ножик. Кимряк чиркнул лезвием по шву куфтыря, запустил в прорез пятерню. Вместе со взмахом его рук сухо затрещали рвущиеся нитки, брызнули кусочки сургуча. Мешковина упала на пыльную траву, а в поднятой руке старика развернулся и повис, слепя глаза невиданной расцветкой, мужской пиджак изрядного размера. Женщины подались вперед, раздались голоса:

— Гли-ко, клетки-те какие большие да в красную дорожку!

— И ношен каплю, новехонькой!

— А кому прислан-то?

— От добрых граждан сэшэа в знак помощи населению России излишки вещей, так в записке ска-

зано, — пояснила Левиха. — Выдадим тому, кто заслужил. Решать будем.

Интерес к заграничной штукловине тут же пропал и у женщин, и у ребятншек. Кому ее носить-то? Мужики и парни на войне, и никто еще не вернулся, а многие и вовсе не придут. Сколько баб-то взывало дурным голосом, распечатав казенный конверт, где вместо дорогих каракуль были могильные машинописные буквы... Только Нинка-с-медалью все еще щупала белоснежную подкладку пиджака. И губы ее сами собой шептали: «Вот бы выпороть да на кофту перешить...»

Люди разошлись. Левиха, задержавшись на сельсоветском крыльце, разговаривала сама с собой, решала:

«Что думать? Вон Колька Семенов и на обед не едет, все на клеверище. Женнх парень, а брюхо-то голое».

Колька Семенов — семнадцатилетний, но уже налившийся силой, в самом деле гонял в это время по клеверищу пару лошадей, запряженных в конные грабли. Ему нравилось собирать в высокие шуршащие валы сухой, похожий на старую колючую проволоку клевер. Колька был безответным и единственным в деревне человеком, которого можно было послать на любую мужскую работу.

Минул обеденный час. Женщины с ребятншками поспешали на покосы. Без песен, без громкого говора шли люди. Еще мало радостей было в деревне в это первое послевоенное лето.

Вымерла улица. Только куры рылись в пыльных ямках возле изгородей. Изредка дребезжала телега и глухо топали копыта лошади, управляемой каким-нибудь пацаном. Демьян Кимряк одиноко сидел в тени, под окнами огромного пятистенка — колхозного правления, курил доморощенную

махру и думал о пиджаке: «Отличная вещь. Главное — заграничная. В ней не только фасон или красота, но и качество. Не то, что наш брат шил. Было времечко — важные господа такой покррой уважали... Владелец шляпной фабрики, как сейчас помню, Петр Петрович Сморгонский... любил, шельма, крупную клетку в костюме, борта у сюртука чтобы были круглые с застежкой на одну пуговицу, плечики чтобы высокие... Имели мы с ним интерес».

Кимряк считал себя предприимчивым человеком, но — неудачником. К примеру, приехал в годы нэпа в Москву, на последние пятаки купил два самовара, посуду, и завел свое дело под вывеской «Чайная. Демьян Гнедов и К^о». Указание на компаньонов сделал с единственной целью — придать предприятию солидность. Трудился один, с великим усердием. Грел самовары, заваривал чай, бегал в лавки за сахаром, баранками и сухарями, мыл посуду. И вроде бы на лад дело пошло. Уже и балычок желтел на витринке, и ветчина, и икорка черная. Завел в зале музыку. Но вдруг оказалось, что выручки не хватает на уплату долгов и процентов. Может, так и не получилось бы, если бы хозяин заведения сам пореже заглядывал в рюмку вместе с именитыми и неименитыми гостями. Но любил Кимряк потолковать о жизни с умным человеком. А человек такой всегда находился. В его чайную даже писатель один заживал. «Ты, — говорит, — Демьян — пример удали и размаха русского, ни в каких франциях и парижках такого человека не найти, надо будет твой образ в романе изобразить». Ну как не угостишь такого! В общем, прогорел Кимряк, оказался неплатежеспособным должником. Сам продавал барахло с молотка, и остался у него от чайной один узорчатый самоварчик. Он его бе-

рег и посейчас, грел три раза на дню сухими еловыми шишками.

...Солнце из раскаленно-белого стало красным, как начищенный к пасхе медный поднос. Оно на глазах теряло высоту.

— Подоприте, бабы, граблями солнышко-то, а не то оно сейчас за лесок падет и не подогрести вам луговину будет, — так на правах взрослого пошутит Колька, проезжая мимо женщин, поспешно ставивших копны. Он свое дело сделал. Нового наряда вроде не было. А один мужик всем бабам не поможет.

Возле правления его окликнул Кимряк.

— Пстой, парень, маленько. Не хочешь ли заморский фрак заиметь? Ты один ему по фигуре будешь.

— Чево? — переспросил Колька.

О пиджаке он еще не знал. Но когда Кимряк ввел его в курс, расписывая пиджак в самом смешном и неприглядном виде, Колька дернул вожжи.

— Провались он, этот фрак, еще девки засмеют. — И погнал лошадей к дому.

Однако ему скоро напомнили о посылке. Вечером к Семеновым пришла торжественная Левиха и сообщила, что премировать американским подарком решено Кольку. Но Колькина мать, Наталья, уже знала, что сказать:

— Не пиджак бы нам надо, Мария Евстафьевна. Обойдется Колька. А вот меньшие—оборвались. Уж ты учти, как привезут материал да распределять будете. Вон они, дьяволята, носятся. И на заплатах-то дыры, — и поставила перед Левихой ребяташек, которые сразу застеснялись, кинулись на летнюю половину избы, попадали там на соломенные постельники, разложенные по полу, и притворились спящими.

Пассажирский поезд проходил мимо деревни в шесть утра. Верстах в пяти он останавливался на разъезде. И бабы, не сговариваясь, каждое утро после росы собирались у прогона. Тяжело опираясь на косовища, они говорили о всякой всячине и без утайки вглядывались: не покажется ли на дальнем повороте дороги человек в военной форме. Ждали и те, кому мужья или сыновья писали, что скоро придут, и те, к кому с войны уже никто не вернется.

Так было и на другое утро после того, как пришла посылка из Америки. Но пустынна и в этот день была дорога. Поезд прошел давно. И уже успел бы солдат добежать от разъезда до дому. Повздохав, женщины разошлись. А солдат-то шел...

Пока Наталья собирала на стол, чтобы покормить Кольку, он вышел в загороду полакомиться гороховыми ляпушками. По-мальчишески цокал языком Колька, жуя сладкие невызревшие стручки, и совсем забыл обо всем, когда рядом раздались чужие голоса. Встревоженно раздвинув руно, Колька увидел, что на заднем заборе, сделанном из жердей, сидит одноногий солдат, костыли в загороду перебрасывает. А помогает ему чернявая девка в красном платье. Колька сразу-то и не признал брата.

Не вдруг вошел Алексей в родной дом. Разгневшимися глазами оглядел загороду и задворки и неловко заковылял меж грядок, ломая костылями буйную огуречную ботву. Но выбравшись на луговину, он махнул такими шажищами к дому, что Колька остолбенел и отстал.

— Только не плачь, мама, — дрогнувшим голосом проговорил Алексей, подходя к крыльцу, куда

потянуло выйти мать внезапно заболевшее зещее сердце. Мать не заплакала. Крепко сжала губы и глядела сухими глазами на длинные желтого дерева костыли. Чернявая девушка внесла в горницу солдатский вещмешок и чемодан.

— А вы кем будете? — с тайной тревогой спросила ее мать.

— Это наша сестрица! — бодро отрекомендовал ее Алексей. — Марго, из Армении. Меня из госпиталя сопровождает.

К обеду в доме Семеновых было полно народу. Бабы охали и плакали, разглядывая тайком, как хитро закручена штанина вокруг обрубленной ноги Алексея. Спрашивали, не встречал ли Алексей их мужей и сыновей. Тут же пересказывались многочисленные истории о том, как был солдат не один год без вести пропавший, а то и убитым числился, и вдруг объявлялся в одночасье живым и здоровым. Алексей уверял, что такое случается, и даже совсем нередко.

Из вещмешка была извлечена бутылка невиданного в деревне кавказского коньяка, которым друзья снабдили Алексея в дорогу. Он чокался с Кимряком и азартно рассказывал ему о достижениях протезной техники. Чувствовалось, что у инвалидов устанавливается своя особая солидарность.

Алексей снова и снова принимался рассказывать, как его, командира пулеметного взвода, ранило сначала во время атаки, а потом мина накрыла вместе с двумя санитарями, несшими его в медсанбат: санитаров, поскольку они шли в полный рост, убило, а он, принявший в себя еще пригоршню осколков, неизвестно сколько времени лежал без сознания и очнулся уже в тыловом госпитале. Уверял, что один осколок мины и сейчас сидит у него в боку, а второй — в скуле. Будто бы две боевые

медали у него потерялись: то ли их сорвало с гимнастерки взрывом, то ли пропали они в дни долгих мытарств по госпиталям.

Кимряку принесли гармонь, и он старательно выговаривал под свою музыку: «Если завтра война — так мы пели вчера, а сегодня война наступила». Мать подавала скудную закуску и отворачивалась, чтобы не заплакать. Алексей уже много раз кричал ей: «Не плачь, мама!» Видно, эта фраза у него была заготовлена давно. Мать и не хотела плакать. Ей все вспоминались его письма. «Я стал такой легкий и сильный, что подтягиваюсь на одной руке», — это из командирского училища. И матери со страхом думалось тогда, что сына плохо кормят, если он так исхудал. «Пуля пробила мою шинель в двух местах, а у меня оказалась только царапина на пальце», — это уже с фронта. И мать не спала по ночам в тревоге, что обманывает сын, что наверное не царапина у него, а страшная рана. И вот: «Я теперь инвалид. Левую ногу у меня отняли выше колена. Скоро приеду». Приехал не скоро. Три операции делали... «Хоть живой пришел и то счастье», — успокаивала себя мать.

Влетела Левиха, представилась фронтовику. За столом ей нашлось почетное место и чистая стопка. Пели.

Алексей велел Марго достать из вещмешка тетрадь, которая сплошь была исписана фронтовыми песнями. Алексей с чувством выводил один, дирижируя себе обеими руками и видя, что его все слушают:

Мне в холодной землянке тепло
От твоей негасимой любви.

И взглядывал на мать. Он заставил петь и Марго. Она не отнекивалась. Поднялась за столом и, от-

крыв рот в широкой улыбке, запела что-то свое, знойное и бесконечное, как поток солнца, заливавшего деревню в этот июльский полдень. Никто не понял ее песни, однако похлопали. Алексей вскочил, пошатываясь на длинной ноге, щелкнул пальцами и заорал: «Асса-а! Bravo!»

— Она отсюда прямо в Москву, в консерваторию, — ошарашил он односельчан незнакомым словом.

Плясали. Левиха первая. Она была нездешняя, эвакуированная, остановилась в деревне еще в первый год войны с тощим узлом тряпок. И припевки у нее были свои:

То ли, то ли я не бес,
То ли не сотонка,
От Великих Лук бежала,
Дрыгала котомка.

Пела и Нинка-с-медалью.

Она тоже была на войне. Добровольно записалась в медсестры, но через год вернулась непорожняя и теперь растила сынишку, которого и сама называла фронтовиком. Была у нее какая-то награда, но она перестала о ней вспоминать после того, как прибавили к ее имени это самое «с медалью». Под медалью, конечно, подразумевался ребенок.

Марго в тот же вечер, к тайной радости Натальи, ушла к московскому поезду. Чемодан ее бережно нес Колька. Левиха обегала в сельсовет и при всеобщем одобрении вручила американский пиджак Алексею.

* * *

Плохо Наталья спала по ночам. Сушили думы о старшем сыне. Какой парень-то рос! Высокий да ладный, а пуще того — умный, уважительный. Не

жалко его было и в десятилетке учить. Это он еще мальчишкой смастерил модель самолета, которая летала сквозь весь прогон, а бывало и до овинов. Он первым во всей округе собрал радиоприемник, и перед войной в их доме уютно попискивали наушники. Но антенну давно оборвало ветром, и один ее конец валялся на крыше, а другой сиротливо свисал с березы.

Хороший рос парень. А ныне что? Курит. Песни поет всякие. Вина ему надо... Женить бы его, да кто пойдет за такого-то? Разве только Нинка-с-медалью... Потерялся сынок, нет у него настроения. Долго ли до худой дорожки, до беды? Недолго. Самое-то больное, что о деле, о себе, о том, как жить дальше, себя устраивать будет, — вот об этом-то он ничего матери не говорит. А ведь мог бы работать посильно. Только как с ним об этом заговоришь, с калекой-то, уставшим после фронта? Опять же хоть и невелика, а пенсия ему идет...

Думала Наталья и о муже Семене, который прошел всю войну невредимым и теперь где-то в Германии служит. Скорей бы уж отпускали его — годы немолодые.

Семен-то живо взял бы в руки сына, не посмотрел бы на его офицерский чин... Плохо спала Наталья ночами. Сын вернулся, а забот прибавилось.

* * *

По деревне вестили на собрание. Председателем колхоза всю войну была льноводка Лиза. Как могла, командовала артелью. И ждала, когда же ее, наконец, заменят.

Люди сошлись к сельсовету. На крыльце стояли Левиха и Лиза. Разговор повела Лиза.

— Вот и мужики к нам возвращаются, — звонко начала она, но не нашла взглядом в толпе Алек-

сея и продолжала уже привычным тоном. — Не дождусь, бабы, когда меня из конторы вытурят на льнище. Я еще все люблю его, голубоглазого, а мне — то в райисполком скачи, то в банк, то на отчет, то на совещание. Давайте другого председателя ставить, мужика.

— Что ты, Лиза, — засмеялись бабы. — Какие мужики! Где их возьмешь. А Алексей разве хозяин?

— Где ему! — заволновалась Наталья. Но у Лизы было все обдуманно.

— Тогда давайте счетовода путевого поставим, чтобы помогал, — настаивала Лиза.

Страсти не разгорелись. Все понимали, что речь идет об Алексее и ничего не имели против него. Только Кимряк зашумел.

— Ишь ты! Без уполномоченного такие вопросы не решают!

Его не послушали. Проголосовали оставить Лизу председателем, пока получше мужики не подойдут, а Семенова Алексея — записали в протокол — «просить поработать счетоводом, если может по здоровью, и чтобы в райцентр ездил...» Наталья шла с собрания удовлетворенная. «При деле будет сын, не свихнется.»

...Алексей встрепенулся, когда мать подошла будить его, словно ждал прикосновения ее руки, но удивился раннему часу.

— Вчера, сынок, счетоводом тебя назначили. Уж ты ступай на работу-то, привыкай, раз люди на тебя надежду имеют. Да и работать там — не бревна катать, сумеешь, поди, — ласково убеждала мать. И Алексей пошел.

Лиза уже ждала его, и дело счетоводу сразу нашлось. Звонили из района. Требовали срочно ехать в банк с печатью, долг энтэесу погасить да

заодно насчет молотилки на уборочную договориться, потому что без нее бабам не совладать. Алексей поехал. Что-то делать ему хотелось давно, и теперь становилось по-новому хорошо на душе и интересно.

Лошадь трусила по пыльной дороге. Алексей загляделся на родные, до кустика знакомые места. Ничего-то здесь не изменилось. Те же болотистые низинки, корявый ольшаник да неистребимый ивняк...

Возвращался из райцентра без задержки. Деньги перечислил, и в МТС, узнав об этом, заверили, что молотилку пришлют. Но чувство исполненного долга, взбодрившее его сначала, оказалось недолгим. Заныли раны, дергающей болью, в такт тележной тряске, напоминала о себе культяпка. Алексей силился и не мог подавить противенькую жалость к самому себе. Ногу не прирастишь и нечего хныкать. Живут и без обеих. Видел. Но, черт, и нет ноги, а до чего же больно сводит ее судорога. И не стукнешь по голени, не разогнешь скрюченную ступню, потому что их нету и все тут. Ну как он будет вот так жить? Мученье... Алексей огрел кнутом задремавшую лошадь. Та было рванулась, но передумала и вот уже опять едва переставляет ноги, следя за ездовым недобрым оком. Стегануть ее еще раз — а ну ее к дьяволу. Жарко. Пиджак скинуть. Туда его, в тележный задок.

Кудлатые облака, словно кипы чистого госпитального белья, вздымались в голубой выси. Они не в силах были закрыть раскаленное солнце. С Алексея лил пот, как тогда, в окопах, когда надо было таскать на себе пулемет с запасом лент. Где-то на западе громыкнуло. Он вздрогнул. Картины войны так ярко стояли в сознании, весь он был до того полон ненависти к врагу, уже поверженному,

но отнявшему у него юность, что удар грома показался ему орудийным выстрелом. По спине пробежал нервный холодок. Алексей уцепился за края телеги, встал на колени, огляделся. Надо было поторопиться: надвигалась гроза.

Полупрозрачные облака на глазах разрастались и темнели. Вот уже полнеба закрыли они. Солнце вдруг скрылось, словно выключили электросвет и оставили лишь синий ночник, и сразу грозно заколыхались рваные края тучи. Налетел ветер. Высох пот на лице и груди. И вот уже свистит кругом, стелется к колесам пыльная придорожная трава, врукопашную борются с ветром кусты. Взвилась густая пелена пыли, перемешанной с листьями, застелила глаза.

Алексей устрашающе раскручивал над головой кнут. Конь, раздувая бока, тяжело рысил и всхрапывал. Вот уже и деревня видна. Осталось миновать церквушку на угоре, скатиться под уклон, переехать речку, а там еловая выгорода, и дом в ста шагах. Но туча надвигалась быстрее, чем уходил от нее одинокий инвалидный экипаж.

Все отвеснее бьют в дрожащую землю ломаные белые стрелы, громче и суше треск раздираемого ими неба. Лошадь с размаху кидается в неглубокую воду, вспыхивающую под первыми каплями дождя, тяжело выдирает ноги из песка, перемешанного с илом, и уж совсем некстати останавливается, изнемогая, перед подъемом на другой берег.

— Вперед! — кричит Алексей, забыв обо всем, и бьет ее, стараясь угодить ей кнутом под пах. Нелепо прыгает лошадь, резко подскакивает тележный передок. И, не удержавшись, Алексей летит навзничь, к воде. Потемнело в глазах, острой болью отозвалась культяпка. Захлестал ливень.

Алексею на мгновение захотелось не шевелить-

ся, вытянуть ногу и лежать вот так посреди реки, пусть все катится к чертям. Но в следующий момент он уже сидел, скрипя зубами, и обшаривал взглядом берег. Из-за кустов лошади не было видно. Но с них свешивался костыль с блестящим резиновым колпачком на конце. О колпачок лихо разбивались дождевики, словно насмехаясь над Алексеем.

Сантиметр за сантиметром одолевал он осклизлый подъем. Дотянулся до кустов, поймал их цепкими пальцами и встал. Вот и костыль в руках... Выпрыгнув на верхнюю гривку обрыва, Алексей облегченно вздохнул. Лошадь стояла рядом на луговине, обмытая дождем.

Нелегко давался первый трудовень.

* * *

Лиза, дождавшись утром Алексея, пересказывала ему все дневные заботы и, легко вздохнув, уходила в поле. Несказанно рада была она каждой встрече со льном, лучше всех она знала, что нужен за ним глаз да глаз. Долго ли стореть ему на корню при нынешней погоде. Теревить его надо не медля.

Когда лен теребят, работают не оравой, как на прополке. Теребят лен врозь. Кто когда уповод выберет, тогда и бежит на отведенную ему полосу. Другое дело, что трудовень запишут только тогда, когда выполнишь норму.

Рядом с Лизой, на узкой полоске, стараются два хлопца Семеновых — Гешка и Вовка. Видит она — братья не ладят сегодня. Гешка постарше, три зимы в школу бегал, не пускает Вовку на полосу, хочет самостоятельно отличиться, трудовень заработать. Может, и дотянет, только велика по не-

му норма-то: семь соток. Вишь, кричит на Вовку, что тот, де, на полосе только и делает, что столбом стоит, а бригадир придет вечером обмерять площадь и разделит ее на двоих. Не выработка будет, а смех, матери рассказать стыдно. Прочь поплелся Вовка, чуть не ревет. Рано бы ему в поле-то. Седьмой годок только.

Вышла Лиза к дороге, окликнула Вовку. А тот и вовсе застеснялся, глаза в землю.

— Пойдем, Вовушка, я тебе полоску укажу, пойдем, хороший парень.

Лиза отмеривает на ближнем краю поля пять шагов в ширину и завязывает узелком прядь стеблей. Потом, раздвигая перед собой стенку льна, идет вперед, вдоль поля. За ней остается светлая дорожка. И там завязывает узелок. Оглянулась Лиза и улыбнулась: прошла по льну, а не затоптала, не примяла ни единого стебелька.

— Вот, дотеребишь досюда и будет твоя норма выполнена.

— Семь соток? — спрашивает Вовка.

— Семь, — лукавит Лиза. — Дотеребишь — трудодень начислим.

А сама отводит глаза. Сердце ее сжимается, но все равно стоит перед ней щупленькая Вовкина фигурка: рукава на локтях драные, штаны на коленках — тоже. Шапки да обутки и вовсе нет. Ноги в цыпках, сорняком исколоты. Неспроста мать его горевала недавно, что не во что парней одеть, хоть в школу не пускай. Надо будет в сельсовете из фонда всеобуча что-нибудь им выкрячить.

Теребит Лиза. Привычно вяжет аккуратные снопики. Глянет вправо — Гешка трудится не разгибаясь, только локти подпрыгивают. Глянет влево — Вовка копошится, сидя сноп вяжет, видно, поясицу натрудил. Ох ты, лен, наш хлебушко!

Американский пиджак после грозы просох на удивление скоро, но съезжился весь, потеряв свой форсистый вид. Однако от нужды и такой можно было носить. Да и надеть, кроме-то, у Алексея нечего. Все довоенное Колька поистаскал. А с войны он принес на себе пару белья да бывшее в употреблении солдатское «хэбэ», если не считать шинели да сапога на правой ноге.

Через месяц ребятишкам в школу. Видел Алексей, как мать по ночам раскладывает на столе старые обноски, вертит их так и этак, чтобы выгадать из них лоскут понадежней. На инвалидную пенсию братишек не оденешь. А на трудодни достанется ли что? План хлебосдачи колхозу прислали такой, что в два раза больше, чем в военные годы. Страдал от всего этого Алексей, но, получив почтой пенсию, щедро закупал в сельмаге папиросы, брал и пару поллитровок. Не думая о том, что половины пенсии уже нет, шел к Кимряку, и, не замечая, что тот в обиде на него за отнятую должность, угощал его и рассказывал, жестикулируя, длинные фронтовые истории. Кольке, составившему было им компанию, быстро надоело такое общество и не ко времени лихие выпивки, и он уходил к девкам.

От МТС в колхоз прислали зоотехника — неказистую девчонку Тосю, которая остановилась квартировать по соседству с Кимряком. Погожими вечерами, когда инвалиды восседали на крыльце, она выходила послушать фронтовика. Алексей старался вовсю, в его рассказах мелькала и тактика и стратегия. Но Тосю заедали комары и она уходила рано. Алексей тут же терял интерес к разговорам и умолкал, дымя папиросой.

По деревне же пошел слух о новой паре: оба ученые, оба на должностях, а что он на костылях,

так теперь и такие женихи под ногами не валяются. Не умолчала и мать.

— Жениться бы тебе надо, сын. Будет хоть кому голову прислонить, а то сумной ты. А она девка тихая, почесть ничего не делает, коров только в тетрадочку переписывает, а получку больше твоего получает. Вам бы и хватило с пенсией.

Алексей, слушая ее, преувеличенно громко фыркал под умывальником и сердито командовал Вовке:

— Лей на шею! Не бойся, что в уши попадет! Еще лей!

Матери он ничего не ответил. Поехал в тот день в город, и вернулся затемно мертвецки пьяным. Ночью бредил, отдавал команды, словно в атаку ходил, ругался и стонал. Утром он с трудом оторвал от подушки больную голову и поразился тишине в доме. Но что это — кто-то плачет. И вдруг крик матери, дикий, неестественный:

— Го-спо-ди-и! За что? Ведь и война-то кончилась!

Алексея подбросило. Он в чем был поскакал к постели матери, но дорогу ему загородил почему-то не ушедший на работу Колька. Недобро глянув на Алексея, он глухо выкрикнул:

— Ты все пьешь! А батьку убили!

* * *

Страшная весть, которой уже никто не ожидал, черным крылом повисла над деревней. Семен Семенов, бессменный председатель колхоза, ушел на фронт в первый месяц войны. Писал, что воевал и под Москвой, и на Волге, форсировал Днепр, брал Берлин. Ничего не сообщал он о фронтовых тяготах и опасностях, писал бодро. Ждала его вся деревня. Но где-то в неуспокоившейся еще Европе

злая пуля недобитого врага сразила Семена на третьем месяце мира.

Теперь многие с ожиданием глядели на Алексея. Ничего, что безногий, — скачет шибко. И голова на плечах не пустая; десятилетку он кончил. Выпивает — верно. Но ведь должен образумиться, подика.

Скорбная тишина стояла в доме Семеновых. Сгорбилась и постарела мать. Колька остервенело работал. Тяжелые морщины перерезали высокий лоб Алексея.

По-иному зазвучали в его душе строчки давно заученной поэмы: «Ты наш старший брат, нам второй отец...»

Алексей ехал в райцентр и ничто не мешало ему думать. Да, он должен стать отцом братишкам. К черту вино и табак! Он скомкал початую пачку папирос и швырнул ее в придорожную канаву. Он задумался и о том, что надо ему сделать что-то полезное для деревни, для колхоза. Иначе — зачем он тут? Вспомнились братские могилы и речи над ними. Он и сам не раз произносил эти речи. А ведь надо же, чуть не забыл что-то очень важное из них. Расслабился, дал волю гнусной жалости к себе, опустил... «Нет, я не должен стать в деревне вторым Кимряком!» — заключил он. Раны в этот день не ныли, и высокий душевный настрой не оставлял его до самого райцентра.

* * *

О выгонах задумались правленцы. Ближние луга скотина как выбрила. А на дальние — не прогнать ее, изгороди сгнили и не отстоять хлеба от большой потравы. Лихорадочно думал и Алексей. Заготавливать жерди и колья — долго да и не по силам это сейчас деревне. Опять же, огород городить

не каждая баба может. Испонон веку этим занимались мужики. До войны имел колхоз пастбища за рекой, но сорокаметровый мост через нее рухнул от ветхости. Наводить новый — труднее, чем изгороди ставить.

— Есть выход! — заявил вдруг Алексей, хлопнув себя ладонью по лбу. — Надо паром делать. Мы с Колькой за пару дней его соорудим.

И как ни сомневались правленцы, что, де, паромом стадо на тот берег полдня придется перевозить да полдня обратно, Алексей отстоял свою идею, напирая на фронтовой опыт.

— Пробуй, — решила Лиза. — Попыток — не убыток. Может, и выйдет что. Да ведь коров можно и на ночевку за рекой оставлять, а доярок катать на вашем пароме.

Уже на другое утро Колька без передыха рубил елки и таскал бревна к реке, а Алексей вымеривал их и опиливал лучковой. Управились и впрямь за два дня. Широкий, заостренный спереди, плот казался братьям почти что кораблем. Уже потемну они столкнули плот вагами на воду, вывели на быстрину и прокатились по течению. Выбрали заводь поспокойнее и закрепили плот кольями, глубоко вогнав их в песчаное дно. На радостях они купались и брызгались, словно мальчишки. И домой шли довольные собой.

Придя в контору с утра, Алексей самолично записал Кольке, за плот четыре трудодня. И тут же в правление влетела пастушиха Агафья.

— Где ваш плот-от? — с порога истошно заорала она. — Целу утрину ищем, одни щепки на берегу нашли. Коровы голодные! Машенники!

Алексей побледнел. Сразу вспомнился ливень, хлеставший всю ночь. Ясно, что плот унесло паводком, а искать его — глупое дело. Нечего было

думать и о новом пароме: идея была безнадежно опорочена.

Мучаясь, Алексей решил, что именно он должен найти другой выход. И придумал. Немало часов пришлось ему убеждать Лизу, что вдоль прогонов, на месте упавших изгородей, надо рыть канавы, да такие, чтобы корове через них не перепрыгнуть. Лиза недоверчиво глядела в ясные, виноватые, но такие искренние глаза Алексея.

— Ладно, — наконец сдалась она. — Канавы водой не унесет, но кто их копать-то будет?

— Все будут. Я первым пойду. Каждому дадим задание.

— Да как ты копать-то будешь? Земля — не пух, на заступ ногой надо нажимать, а у тебя одна нога-то. На чем стоять будешь? — необидно усмехалась Лиза.

— Выстоим! — готовый на любое самопожертвование кричал Алексей.

— Ты лучше о расценках подумай.

— Подумаю. На себе проверю!

В какой-то горячке Алексей долго чертил профили канавы, стараясь найти самый надежный и малотрудоемкий вариант. Это ведь был не окоп и не противотанковый ров, а преграда неумной скотине. С вечера наточил заступ, а утром привязал его к костылю и до завтрака вышел в прогон. Выбрал место и, крякнув, посадил лопату в засохшую землю. Ленту дерна удалось снять довольно легко. Дальше пошло хуже. Как ни приспособливался он и стоя, и сидя, но лопата выгребала из ямки до смешного маленькие кусочки глины. Казалось, без ноги тут нечего было и соваться. Взмокла гимнастерка, мелкой дрожью билось от непривычного напряжения колени. Алексей понял, что ему не откопать ров в глубину по задуманному профилю. Но и отступить он

не мог. Страшно ругаясь, он прыгал вокруг бесформенной ямки, высоко взмахивал заступ обеими руками и кромсал им неподатливую землю. Он не замечал, что проезжавший мимо Колька уже давненько глядит на него. Колька понял все. Он спрыгнул с телеги и решительно отобрал у брата заступ. Тот бешено вскинул на него глаза.

— Отдохни. Я до дна докопаю, ты спустишься на него и сам ходко погонишь канаву, ловчее тебе будет, — успокоил его Колька.

Алексей успел отдохнуть, пока младший брат споро раскидывал крупные комья, вгрызаясь вглубь. Вскоре канава двухметровой длины была готова. Алексей спрыгнул в нее. Понял сразу, что долбить перед собой почти отвесную стенку земли он сможет. И о края можно было опереться, это очень помогло.

За день он прогнал канаву на двенадцать метров и решил, что такой и должна быть норма для всех. Домой еле добрал. На другое утро он видел, как в прогон с лопатами пошли несколько женщин. Колька за завтраком хвалился, что свою норму он выполнил и лишний трудодень обеспечил. Но сам Алексей не мог выйти в этот день на работу. Мало того, что все тело его было разбито. Под глазом еще лиловела огромная опухоль. Дали себя знать тяжелая работа в наклонку и переутомление. Из скулы полез на волю осколок.

Опухоль быстро превращалась в багровый нарыв. Алексей рычал от боли и метался по пустой избе. Приковылял Кимряк. Посочувствовал, помолчал и вдруг потащил Алексея к себе домой. В закопченной комнате, среди обрезков кожи и войлока старик готовил операцию. Прокалил в огне длинное шило, поставил перед Алексеем осколок толстого зеркала.

— Начинай!

Морщась и охая, Алексей проколол нарыв. Кимряк наблюдал за ним с неподдельным интересом, поминутно давал советы. Осколок вскоре упал на стол — маленький, с острыми углами. По щеке Алексея сочилась сукровица. Бледный, он сидел, прислонив запрокинутую голову к стене, и кусал губы.

И тут Кимряк вымахнул из-под лавки бутыль самогона.

— Поправься, полегчает.

— Оставь, — отмахнулся Алексей. — Не до этого.

Кимряк удивленно поглядел на него, хотел еще что-то сказать, но крик за окном опередил его.

— Эй! Кто в избах! Корова в новую яму завалилась. Бегите тащить, не то подохнет!

Кричала опять пастушиха Агафья. Подскакав к окну, Алексей увидел, как в прогон сыпанула ватага ребятишек, а за ними скорым шагом и с воем, словно на пожар, спешили женщины. Алексей и сам рванулся было к дверям, но не хватило сил. Его жгло нестерпимо обидное чувство. Досада и злость перерастали в отчаяние. Он коротко взвыл и тут же смолк, уставясь на Кимряка глазами, полными страдания. А тот уже стоял перед ним, тоже страдальчески сморщившись, с полным стаканом.

— Давай, — прохрипел Алексей. — Все к чертям собачьим!

Хмель сразу оглушил его. Алексей потом со стыдом вспоминал, как он плакал, как пел с Кимряком жалостные сиротские песни, как они обнимались и клялись в дружбе. Все это он старался забыть, но никак не шли из памяти слова старика: «В деревне надо жить спокойнее, а ты горяч, смятен и неровен. Не жилец ты здесь. Уедешь, оста-

вишь меня». В подкрепление клятвы Алексей отдал Кимряку свой американский пиджак. Заметно поскупевшая в последнее время Наталья обиделась на сына.

Корову удалось вытащить из канавы в тот же день, но никто в деревне уже не рассчитывал на Алексея.

* * *

Поспели хлеба. И немалым обещал быть урожай. Но будто в насмешку в эти-то дни и кончились сразу во многих домах запасы хлеба и муки. Выручала пока картошка. Как-то за обедом, когда на столе не было ни корки, Колька пропел для бодрости новую частушку:

Все картошка да картошка,
Да картожны колобки.
Довела меня картошка,
Что не держатся портки.

Наталья подхватила шутку, чтобы и других сыновей поразвеселить. Но с веселья сыт не будешь.

Мать пошла по деревне. Она сердилась на Кимряка за пиджак и требовательно постучала к нему. Кимряк, исхудавший и черный, сидел под образами. Хлебом в избе не пахло.

— Заплати хоть за пиджак-то, — осуждающе заговорила Наталья. — А то получается, что нищий у нищего портянку украл.

— Заплатил бы, да нечем. А можешь и забрать его, все клетки при нем. И без него помру.

Наталья сняла с гвоздя пиджак и критически осмотрела его. Подкладки у пиджака не было.

— Куда подкладку-то дел?

— Это у Нинки-с-медалью спрашивай, ежели отдаст, — осклабился Кимряк.

— Бес ты старый, как ты земля носит! — зару-

галась Наталья. С пиджаком в руках она обошла еще несколько домов в надежде хотя бы на него поменять муки. Но хозяйки горестно разводили перед ней руками. Вернувшись ни с чем, расстроенная и сердитая, она хотела попенять Алексею за пиджак. Но сына дома не было. Мать тревожно ждала его до полуночи, прислушиваясь, как покрикивал во сне на лошадей Колька.

«Бывают ли большие страдания?» — спрашивала себя мать, слыша, что новые недобрые предчувствия закрадываются в ее душу. Машинально она спустилась в подполье. Горе вот-вот могло вырваться в крике, но мать сдержала его. Она нащупала в укромном углу огарок свечи, зажгла и поставила перед собой на завалинку. Развернула чистую тряпку, которой была обернута древняя книга в деревянных обложках.

...В тот горький день, когда пришла похоронная на мужа, Наталья, уже много лет не ходившая в церковь и не крестившая лба, отыскала в поеденной мышами бумажной рухляди псалтырь. Открыла его дрожащей рукой на воина Семена и всю ночь читала с жаром и слезами малопонятные строчки, стараясь найти и, кажется, находя в них сокровенный смысл. И чуточку светлело на душе. Утром она доверительно рассказала об этом соседкам, приходившим разделить ее горе.

— Словно и похоронной не верю теперь, — проникновенно шептала она.

— И не верь. Бог лучше нас знает. Да и писаря могли напутать, — успокаивали ее соседки.

И вот сейчас Наталья снова открыла книгу.

— Господи! — истово выговаривала она вовсе не то, что было в книге. — Вразуми ты моего старшего. Весь-то он издергался. Отведи от него думы черные, наставь на путь истинный.

Она долго читала замысловатые, по-доброму назидательные фразы, застывала в глубоком смиренном поклоне. Экстаз охватывал ее. И вот загремело что-то над ней, внятный голос донесся. Глянула Наталья — перед ней сам Иисус, благословляет ее троеперстием. Пала Наталья на холодную землю и услышала явственно: «Терпи, раба божия, не возропщи душой. А за кротость твою будет хлеб детям твоим, и старший выйдет на путь праведный».

Снова загремело, зашелестело вверху.

И словно кто-то крикнул издали: «В ларь загляни! В ларь!»

Все стихло. Не веря себе, Наталья долго боялась пошевелиться. Но потух огарок, из окошечка потянуло утренним холодком. Наталья разогнула спину, тяжело поднялась наверх. Она долго стояла перед ларем, страшась разочарования. Наконец подняла крышку и опустила руку в крайний сусек. На дне его она нащупала горку муки.

* * *

Утром в доме Семеновых запахло хлебом. Мать пекла лепешки. В избу заглянула набожная старуха Авдотья, и Наталья, все еще находясь в горячем возбуждении, тут же поведала ей о ночном видении. Авдотья упала перед ней на колени.

— Благослови! Святая ты, Натальюшка!

Наталья благословила. Гостья, крестясь и кланясь, выпросила кусочек лепешки, поцеловала его и бережно завернула в тряпицу, словно просвиру. А через несколько минут в избу влетела Левиха.

— Наталья! — с порога зашумела она. — Говорят, тебе муки бог послал. Что печешь-то?

Не спрашивая разрешения, схватила пару горячих еще лепешек.

— Точно, ржаные, нет, пшеничные, — радостно лепетала она, жуя и обжигаясь. Проглотив вторую лепешку, Левиха опрометью выбежала вон. А через несколько минут у кладовой, где хранились семена для озимого сева, Левиха самолично таскала на весы тяжелые мешки. Долго считала. И вот по деревне понесся ее крик.

— В кладовой недостача. Семена разворовывают. А у Семеновых лепешки пекут, сама пробовала! Скоро к дому Семеновых Левиха подступала уже с Лизой.

— Может, выменяли где? — с тайной надеждой спрашивала Лиза у Натальи.

— Что вы, это бог послал, виденье мне было, — объясняла Наталья, собираясь рассказать все подробно.

— Бог по колхозным кладовым, что ли, ходит! — орала Левиха.

Алексей не выдержал. Одним прыжком подскочил он к председателю и замахнулся костылем.

— Вон! — вскричал он не своим голосом. — Башку размозжу!

Левиха с визгом ринулась к дверям. За ней вышла испуганная Лиза. А возле крыльца их уже поджидал всклокоченный Кимряк.

— Я воровал! — с надрывом чуть не выл он. — Судите меня!

— Зачем же ты? — спросила Лиза, страдая.

— Ребятишек стало жалко ихних! Защитника-фронтовика! Да и сам... Судите! — отчаянно размахивал руками старик, хватаясь за рубаху на пруди.

Нехорошая новость облетела всю деревню. А о случившемся мог бы многое рассказать и Алексей. В одно время с матерью ходил он по деревне тоже в поисках хлеба. Поначалу зашел к Лизе. Но и у той на столе красовались картофельные колобки.

— Али на фронте лучше кормили? — пошутила она.

— Ко всему привык, — ответил Алексей. — Но там один, сам за себя, а тут семья.

Договорились, что как только в колхозной кассе появятся деньги, Алексей возьмет аванс до пенсии, съездит за хлебом в город.

— Поди к Тосе, у нее получка каждый месяц, — посоветовала Лиза. И он пошел. В доме Тоси огня не было, но Алексей услышал приглушенные голоса в огороде и толкнул калитку. Она отворилась без скрипа. Алексей двинулся в глубь двора и вдруг рассмотрел почти рядом перед собой американский пиджак, а выше его — Тосину голову. Пиджак был накинут на Тосины плечи, и широкие Колькины ладони лежали на них. Раздался забытый Алексеем звук поцелуя.

В два прыжка выскочил он с чужого подворья и понесся вдоль улицы. Нестерпимо кололо в груди. Обида на брата? Нет. Скорее на самого себя. Трудно дышать. Остановился и утер со лба внезапно выступивший пот. Грузно обвис на костылях, зажмурился. У него было отнято последнее.

— Может, зайдете, Алексей Семенович? — будто издалека донесся до него голос Нинки-с-медалью. Но она была рядом, высунулась из окна до пояса и извиняюще улыбалась. — Чего стоять-то долго? Люди увидят.

Алексей не сразу сообразил, о чем беспокоится Нинка, скрипнул зубами и поковылял прочь. Пришел он к Кимряку. Сам попросил самогона.

— Нету, брат, — горестно развел руками старик. — Голодуха.

Долго молчали.

— Тоже есть-то нечего? — любопытствовал Кимряк.

— Нечего.

— Могу выручить... на денек-другой.

— Не себе, ребятишкам, матери!

Вот-вот, и я тоже говорю, — грустно ответил Кимряк, отстегивая липку, в которой Алексей, глазам своим не веря, увидел увесистый мешочек с зерном.

— Где добыл?

— Не дело спрашиваешь. Бери... За подкладку пиджака. Я ее прешным делом пропил.

За ночь инвалиды на домашних жерновах намолоти муки, и Кимряк же надоумил Алексея тайком высыпать ее в ларь.

* * *

В сельсовете сидели обе председательши.

— Кого под суд-то отдашь, подумай! — уговаривала Лиза. Левиха вскакивала, кричала, но все тише, тише и вдруг бросилась на шею Лизы со слезами.

— А ты думаешь я не воровала? — всхлипывала и откровенничала Левиха. — Ой, всего было, как триста верст от немца бежала. Всего было! Давай уж мы их на собрании постыдим да взыщем потом.

— Правильно, — согласилась Лиза. — Я-то думала, что у тебя совсем очерствело сердце. Правильно. Да скажем бабам, чтобы не разносили слухи до других деревень. Поймут бабы-то.

Обе председательши еще долго сидели в сельсовете, не зажигая лампы. Они тихо всхлипывали, зная, что начальство их за такое дело не похвалит, но и по-другому поступить не могли. Так и сидели, пока не утешили друг друга душевными словами.

* * *

Наступил сентябрь. В деревне уже давно намолотили свежего зерна. Повеселевшие хозяйки щедро ставили на столы подрумяненные подовики. В чи-

стом воздухе бабьего лета плавал острый аромат только что испеченного хлеба. Но деревню занимало другое событие — уезжал Алексей.

После собрания, негромко обсуждавшего проступок инвалидов, но все же вынесшего им общественное порицание, Алексей не мог больше ходить в правление. Днями сидел дома, стыдясь подойти к окнам, а вечерами пробирался к Кимряку. Тот успокаивал его по-своему.

— Ведь хотел же я пользу принести, добро людям сделать, а кругом опозорился, — нервничая, рассуждал Алексей.

— Не мы первые, не мы последние, — философствовал Кимряк. — Моя поношенная совесть меня не терзает. На жизнь я гляжу трезво и есть во мне мудрость, — хвастался он, радуясь, что у него есть внимательный слушатель. — А ты, Алексей, — продолжал он, — человек хороший, из нынешних, но горяч по молодости лет и многого не видишь и не понимаешь. Главная закавыка твоего смятения — не ко двору ты здесь или не ко времени. Ты образование имеешь, разные города прошел, в Европу заглядывал. И как же ты не поймешь, что уродился ты не здешним. Тебя и мальцом-то тянуло радио изобретать. А может, это тебя ученье так отодвинуло. Здесь ты давно чужой и мало полезный, как твой пиджак подарочный.

Эх, Алексей, друг ты наш любезный, не ту драгву ты в руки взял, не с того краю сапог тачать начал. Уезжай-ка ты отсюда. Вишь, тебя и девки-то тут обегают, как нездешнего, неровню. И дело не в ноге. Не ко времени ты. Освобождай мою должность.

Скрутив новую сигарку и увидев, что получилась она удачной, Кимряк воодушевился еще больше.

— Ты для этой деревни не спаситель. Она сама себя спасет. Уж больно ты горяч, был бы наган, так к виску бы дуло приставил. А из-за чего? Коровы, видишь ли, в канаву упала. Так они же каждое лето где-нибудь десятками вязнут и заваливаются. Хлеба в деревне не хватило на неделю — а раньше месяцами зубы на полке держали и очень даже многие с голодухи мерли. Читал я как-то земскую статистику... Да ну ее к шуту. Вот ваш Колька подрастет — готовый председатель для колхоза будет. Этот тутошний, а ты — нет, хоть и родные вы братья.. И что еще у нас хорошо: невозможно у нас человеку пропасть. Вот мне бы давно надо сгинуть и не коптить небо, а я жив и бываю весел. И ты бы в старое время пропал, а ныне не пропадешь. Никак тебе не пропасть, потому что хочешь ты много сделать, так тебя воспитали, и надо тебе учиться, чтобы не рыть коровам новые ямы. И заставят тебя учиться. Видишь, власть у нас своя. Она понимает. Лизка — золото высшей пробы, а Левиха хоть и дура приبلудная, но тоже душу имеет. А поди-ка в больших-то деревнях, в городах-то — еще умнее люди.

Алексей слушал старика и удивлялся, что советы его очень уж похожи на то, что писал ему из Ленинграда вернувшийся с фронта дядька. Писал этот дядька, что пришел в пустую квартиру и звал Алексея к себе, намекая, что в деревне ему сейчас на место.

И Алексей решил ехать. Мать починала вечерами его немудреное барахлишко и вела тихие, не без умысла беседы.

— Ты уж там не горячись. Неровен час — под какой трамвай попадешь, там ведь, поди, много трамваев-то, — как ребенку, наговаривала она. — Да береги деньги-то. Разве нам сахарку пришлешь когда. Давно уж у нас не было сахару-то.

Беседа тянулась неспешно, и Алексей с любовью глядел на сухонькие, но еще проворные руки матери.

— А еще я расскажу тебе из старого, — напевно продолжала мать. — Раньше-то старший сын почесть из кажинной семьи в Питер уходил, в мальчишки. Разные ремесла там постигали. А потом и младших за собой тянули, в люди выводили. Да оно и легче им было сообща-то. Зато уж как наедут в деревню на праздник, тройки наймут с бубенцами, гостинцев навезут, лампасей, пряников, лент.

Мать подбила под пиджак новую подкладку. Но, прощаясь на разъезде, Алексей отдал пиджак Кольке.

— Ты имеешь на него больше прав, чем я, — сухо уверял он брата. — Да и везет тебе в нем.

— Я же не знал, что ты на Тоську виды имел, — покраснел Колька.

— Что было, прошло, — и Алексей начал прощаться.

* * *

Вернулся он неожиданно скоро, недели через две. Те же застиранные солдатские галифе и гимнастерка сидели на нем не по-деревенски лихо. Он еще больше исхудал, но весь светился радостным азартом. Рассказывал, что попробовал наудачу и сразу поступил в институт, все экзамены выдержал. Теперь приехал, чтобы посушить картошки на первый студенческий семестр. Мать изо всех сил помогала ему.

И снова Алексея провожал Колька. Мать стояла на крыльце, и слезы ее не были тяжкими. Братья прошли загороду. Алексей вскочил, как в день возвращения из госпиталя, на изгородь, еще раз оглянулся, чтобы получше запомнить родное подворье, и неожиданно захохотал.

Рядом с грядкой гороха красовалось пугало, одетое в неузнаваемо расползшийся американский пиджак. Не утерпев, Алексей поскакал к пугалу.

— Это я еще раз в нем под дождь угодил, — усмехнулся Колька.

— А воротник-то еще крепенький, — хохотал Алексей, поддевая пиджак костылем.

— Мать домотканой холстиной его подбивала, — пояснил Колька.

Фигуры братьев недолго маячили на проселке. Налетел ветер и закрыл дорогу пылью. В загороде обиженно зашелестел созревший горох.

А на задворках правления, все еще глядя вслед братьям, сморкался и вытирал глаза одинокий Кимряк. Что-то непонятное приключилось с ним в последние дни. Пить перестал. Набросился на счетоводные дела... Но вдруг и он встрепенулся и поспешил к сельсовету. Над деревней неся призывный крик Левихи:

— Бабы-ы! В селыпо «чертову кожу» привезли. Да и много! На всех хватит!

МЕЖ ГОРОДОМ И СЕЛОМ

1

НЕЛЕГКОЕ и не всегда приятное это занятие — оглядываться на прошлое и самому судить о прожитом. И зачем, казалось бы? Ведь не вернешь, не поправишь. А привяжется такая чертовщина и никуда от нее не денешься. Перед глазами — вереницы картин, какая-то странная живая диорама. Уплывают одни картины, ярко высвечиваются другие, совсем как на театральной сцене, когда поворачивается круг и перед зрителями предстают новые

декорации, новые явления. Они кажутся удивительно знакомыми, но рампа вспыхивает другими огнями, рождаются новые тени, и все приобретает уже иную окраску, становится менее понятным.

Все это надо бы осмыслить, но обязательно что-нибудь мешает. Вот и сейчас взвыла собака под самым окном... Не люблю собак в городе. Тут они лишние. Обшарпанные, наглые, трусливые — они готовы служить любому за брошенный кусок. Или вымытые и причесанные, в расписных мундирчиках — эти идут и словно презирают всех, кроме хозяина.

...Собака за окном истошно взвизгнула и умолкла — кто-то ударил и прогнал ее. Зато с кладбища все звучнее стало долетать приглушенное парным воздухом ночи щелканье соловья. Искусен, но незартен городской соловей, поет он редко и негромко, как будто у него слабые легкие. Далеко ему до тех вольных, что гремят вокруг моей деревни всю весну и раннее лето.

И вот картина: последние дни моего детства. Соловей трезвонил тогда целую ночь и утро. И лишь к полудню июльский зной иссушил ему горло. Огромная поляна, окаймленная неровной стеной леса — такие поляны у нас зовутся гладинами — была наполнена густым, удушливо-горячим воздухом, который вибрировал, поднимаясь жаркими волнами над каждой копешкой сена, над каждой скрученной в истоме елкой. На этой гладине мы с отцом сенокосили. Косили от лесхоза: две тонны лесхозу, тонну — себе. Впрочем, тоннами тут сено никто не вешал — не на чем было. Считали стогами, а поэтому под свой стог отец и остожье ставил поменьше, и сено отбирал для него получше. И следил, чтобы я утапывал его изо всех сил, а то и сам карабкался на верхотуру и долго уминал сено, стоя на колен-

ках. Стог заметно оседал, и мы навивали на него еще немало сена. На стоге для лесхоза все делалось наоборот.

От усталости и недосыпания мне было безразлично, каким будет тот или этот стог. И отец был недоволен, хотя и не ругался. Он учитель, но чтобы прокормить многодетную семью, весь свой долгий летний отпуск работал в лесу. Он совершенно не пил вина, но, уходя в лес, нередко брал с собой поллитровку. Я втайне удивлялся этому, но скоро перестал. Помогая отцу чистить просеки, я увидел, как он с заискивающей улыбкой подал бутылку леснику дяде Косте. Тот взял ее, как должное, уселся в тени, снял форменную фуражку с кокардой и выпил всю водку, закусывая нашим же хлебом и вареными яйцами, взятыми на обед. В тот день дядя Костя позволил нам увезти из государственного леса бревно. Отец тогда торопился, нервничал и по дороге сказал мне, что на все отпускные деньги он смог бы купить не больше пяти бревен, а чтобы подрубить осевший дом, надо было самое малое двенадцать.

...После утренней росы отец ушел в деревню: кончались харчи да и о подводе пора было хлопотать, чтобы увезти наши стога к дому. Он не вернулся к вечеру, как обещал, не было его и ночью. Всю эту ночь я не спал. Едва стемнело, как в стенке шалаша, сложенного из ольховых веток, высохших до звона, что-то резко зашуршало. Пугающий звук скоро повторился громче и ближе. Казалось, кто-то огромный и страшный пытается развалить мое непрочное убежище и добраться до меня. Я схватил длинный японский штык, захваченный на сенокос, наверное, как раз для такого случая, и когда треск раздвигаемых веток раздался совсем рядом, вонзил штык в хрусткую стенку. Стало тихо. Но вскоре нападение возобновилось с другой стороны. И я, чуть

заслышав шорохи, бил и бил штыком по звенящим веткам, не замечая, что руки оцарапаны до крови.

С зарей шорохи прекратились. Но я еще долго сидел в шалаше и тревожно слушал звуки просыпающегося леса. Мне мерещилось, что зверь сидит возле шалаша и ждет меня. Было обидно, что лучшие часы для косьбы уходят впустую, что отец снова будет недоволен мной. Надо было что-то предпринимать. В отчаянии я резко отдернул солдатскую плащ-палатку отца, прикрывающую вход в шалаш, и пулей вылетел на гладину, держа перед собой штык. Никто на меня не кинулся. Я обошел вокруг шалаша — пусто, даже трава не примята. А утро занималось самое веселое и чистое. Соловей давно рассыпал по росистой гладине свои трели. Казалось, что от его звучного щелканья вздрагивают и поворачиваются к солнцу лесные цветы. И нельзя было сказать, что прекраснее: соловьиное пение или сверкающая многоцветьем роса.

Страх уходил с каждым взмахом косы. Но отстегнуть от пояса тяжелый штык я не решался, и он больно бил по коленкам. Я плохо расслышал тихий стукоток впереди. Махал и махал косой. И вдруг почувствовал, что задел ею что-то тяжелое и живое. Дернул косу на себя — на мокром полотнище лтовки трепыхался еж.

— Вот кто лез в шалаш! — На душе стало легко оттого, что бояться здесь, оказывается, некого. И тут же сердце отозвалось острой жалостью к зверьку.

Тот день оказался богатым на события. К обеду на гладину въехали сразу три подводы. Заслышав голоса, я выбежал к дороге, надеясь увидеть отца. Но приехали чужие люди и с ними дядя Костя.

— Сено в лесхоз повезем, помогай-ко намяты-

вать! — скомандовал он мне не очень-то дружелюбно. За дядей Костей шагал высокий, хорошо одетый мужчина, от которого пахло духами. Я еще не знал, что это пожаловал сам директор лесхоза. Он бодро насвистывал, с видом знатока оглядывая стог за стогом, выщипывал из них горсточку сена, будто боялся уколоться, мял травинки, нюхал и даже пробовал на зуб. За ним семенила крохотная собачонка, белая, как носовой платок ее хозяйина, которым он то и дело утирал потеющее лицо, а отбросив последнюю горсточку сена, тщательно вытер и руки. Директор не удостоил меня даже взглядом, не посмотрела, не взлаяла на меня и собачонка. Скошенный луг колот ее лапы, она смешно подергивала ими и приседала. А мне было не до смеха.

Мелькнула невеселая догадка, что неожиданным гостям приглянулись как раз те стога, которые мы давно считали своими. Так и получилось. Через час покачивающиеся подводы тяжело уползали по лесной дороге, а я остался рядом с тощим стожком, наспех сметанным из самой никудышной травы. Судорожно всхлипывая, я не знал, за что же теперь приниматься. Зарылся в сено, надеясь успокоиться, а заодно укрыться от остервеневших слепней, которые прилетели за лесхозовскими лошадьми и остались на гладине.

Но на этом мои испытания в тот день не закончились. Разбудил меня леденящий душу рев, прерывисто раздававшийся все громче и ближе. Я вскочил, стряхивая с головы сено, а не надо бы вскакивать, потому что теперь прямо на меня, криво пригнув голову, несся огромный бык. До сих пор не понимаю, как родился во мне тот ни с чем несравнимый крик. Наверное, он и остановил быка. А может, еще больше взъярил. Бык снова ринулся на меня, но я успел вскарабкаться на вершину стож-

ка. Вцепившись в шаткий кол, возвышавшийся над стожком, я с ужасом глядел, как бык всаживает в стог аршинные рога, мотает башкой, вырывая и раскидывая охапки сена. Не знаю, сколько минут продержался бы под натиском быка стожок, но бык не успел разметать его. С дороги донесся крик отца. Он тяжело бежал к стогу с увесистой жердью в руках. Удар был таким, что, по моим понятиям, бык должен бы грохнуться замертво. Но он не упал, развернулся, лягнул стог, недоуменно мыкнул и удрал в лес. Отец, вытирая пот, скорбно оглядел ограбленную гладину, и мне не захотелось спускаться вниз.

Весь остаток дня отец приглушенно ругался, срываясь на болезненный крик.

— Я знаю, куда идти! Я не ворую, а тружусь. Трудовиков обижать — последнее дело! — Но в крике его чувствовалась обреченность, и я знал, что жаловаться он никуда не пойдет. Мы погрузили остатки сена на одер. Неказистый получился воз.

— Сколько пота пролил, а всего остолбушник домой везу, да и то одни дудки да палки! — горько приговаривал отец, направляя лошадь к дороге и не оглядываясь на меня.

— И мне домой надо! — закричал я.

— А косить дядя будет? — раздраженно обернулся он. И я понял, что разговаривать с ним в эту минуту напрасно. Меня не пугало, что снова придется ночевать здесь одному за полтора десятка верст от дома. Знал, что ежи — не страшно, а бык больше не придет. Расстраивало другое. Я только что окончил семилетку. Выходили у меня две годовые четверки, но учителя не без содействия отца исправили их на пятерки, сделав меня круглым отличником. Видно, им самим хотелось выпустить из школы хотя бы одного ученика с похвальной грамотой. Им

я и стал, заодно получив право поступать в любой техникум без экзаменов. Бредил я в ту пору флотом и написал письмо в незнакомый, но так удивительно названный город Великий Устюг, в речное училище. Хотел и документы отправить, но они были у родителей. Теперь кончался июль, а с ним и срок подачи заявлений, а я бродил по опостылевшей гладине, чуть не ревел и ничего не мог поделать. Я еще не знал, что отец за день отлучки с сенокоса успел сходить в райцентр и отнести мой аттестат в педучилище, где меня и зачислили на первый курс.

Помню то тяжелое безразличие, с которым шел я в город вместе с отцом. Так впервые пролегла моя дорога меж городом и селом, по которой я долго ходил, как и по гладине, словно выполнял нелюбимую и надоевшую работу. Да и учеба в этом девчоночьем заведении казалась нудным сенокосом в чужих лугах.

Отца я тогда уж во многом понимал. Мне было ясно, что и две милостиво исправленные четверки, и увезенное из леса бревно — дела нечестные. Но было понятно и то, что толкало отца на такие поступки. Пусто и уныло становилось на душе от такого понимания, хотелось уйти от всего этого. Наверное, поэтому полюбил я дорогу до города. Это она помогла мне запомнить годы учебы как время радостного возмужания, когда каждый день сулил и приносил открытия, когда рождалась волнующая уверенность, что завтра буду знать еще больше.

В хорошую погоду я проходил дорогу за четыре часа. Это на первом курсе. Потом стал отдавать дороге почти весь выходной, если не лютовал мороз или не лил дождь, которые одинаково вынуждали торопиться.

Уже в двухстах шагах от дома дорога ныряла в перелесок и поднималась из сырого ложка на склон

широкого поля. Здесь не прокладывали тележного следа, но среди хлебов или льна всегда светлела гладко утоптанная тропка шириной чуть побольше ладони. Полчаса надо было идти по ней, вдыхая запахи поля. Тропинка то убегала в низину, то петляла в кустарнике, росшем посреди поля, и обрывалась перед зелено-желтой, почти отвесной стеной насыпи рядом с железнодорожным мостом. Дальше самый прямой путь по шпалам. А потом уже чужие перелески, сырые луга, городской вал со рвом, полным стоячей воды, и захламленные окраины города.

На дороге у меня немало любимых мест, где я обязательно останавливался, даже если и не чувствовал усталости. А на ходу хорошо было петь песни и арии, которые нас заставляли разучивать в педучилище, и грезить о том, что поешь на сцене сверкающего золотом и бархатом театра — такие театры я видел в кино, — что публика раздражается овацией. Но вместо овации меня оглушал паровозный сигнал за самой спиной, и я едва успевал скатиться под откос, или дружный гогот путевых рабочих. Сначала не любил я этих железнодорожников. Но позже понял, что им нравятся мои песни, что они уже знают, когда я должен идти, и ждут. Завидев меня еще издали, они бросали свои кувалды и лопаты, прятались под насыпью. Чаще всего я проходил с песнями, вообще не замечая их. Они прозвали меня артистом и кричали вслед, чтобы я почаще оглядывался — не догоняет ли поезд.

Отдыхал в приглянувшемся месте я всегда один. Сразу за мостом в густом бряднике в те годы жили два соловья. Пели они по-разному, но, видимо, плохо слушали один другого и не думали о том, кто поет лучше. Здесь на бревенчатой подставке для запасных рельсов было мое любимое место. Тут хорошо думалось,

Именно здесь я решил, что влюблен в свою одноклассницу, черноглазую Нинку Удалову. Спустя немного времени мы пришли сюда теплым летним днем. Нинка плохо слушала мои восторженные рассказы о дороге. Я насупился, сказав, что она не понимает ни соловьиного пения, ни меня. Больше я не назначал ей свиданий. Еще долго я ловил на себе ее недоумевающий взгляд, но становился от этого упрямее. И первая любовь ушла, оставив болезненный след в памяти.

На этой дороге я размышлял, как мне быть с учительницей литературы Татьяной Ивановной. Я тогда был уверен, что литературу она знает хуже меня. Да и повод для этого был: как-то на уроке она перепутала писателей, смутилась по-девчачьи, долго листала конспект и запуталась еще больше. Я громко засмеялся. А на другой день, когда писали сочинение, «отличился» еще больше. Выбрал я тему «Образ Данко» и написал во вступительной части, что поскольку страницы о Данко знаю наизусть, то и берусь писать о нем, тем более, что в парте лежит книга, а на уроках Татьяны Ивановны легко списать. Я понимал, что эти слова сочтут в училище непростительной дерзостью. Но ничего не мог поделать с собой. Книга в парте действительно была. И листы из нее я вырвал, потому что их просил сосед — Юрка Щербаков. Я добросовестно и даже с пафосом, взволновавшим меня самого, написал сочинение по памяти, а Юрка бессовестно списывал. На другой день я узнал, что мне никакой оценки за сочинение не поставили, а Юрка получил пятерку. В училище возмущались мною. Вызвали отца и в его присутствии разбирали мое поведение. Я отмалчивался, а отец не стерпел. Дома, говорил он, сын был смирным, а если испортился, то здесь. Правду же его всегда учили любить.

Все же поведение мое осудили. Отец тоже постыдил меня с глазу на глаз: пора, мол, бросать дурачества-то. Мне предложили извиниться перед Татьяной Ивановной, словно после этого все стало бы просто: я начал бы уважать и слушаться ее, а она — уважать меня. Вины я не чувствовал и извиняться не шел.

Только через полгода я решил, что мучить учительницу бессмысленно. Подошел к ней и сказал все, что было надо.

— Кто тебя научил? — удивленно вскинула она свои красивые глаза. Я тут же пожалел, что подошел к ней, но сдержался и вежливо ответил, что так решил сам. Она похвалила меня, хотя глядела все еще с недоверием, словно ожидала очередного подвоха. Я и тут сдержался. И скоро стал замечать, что отношение в училище ко мне стало иным.

...Этой же дорогой я еще раз прошел вместе с отцом, но уже не к училищу, а к районному военкомату. Три года был солдатом, а вернувшись домой — снова ходил старым путем, выправлял паспорт. Пытался не проходить мимо своих когда-то любимых мест, но сердце билось спокойно, а прежние мои волнения казались ничтожными. Переполюняло меня тогда ощущение силы, свободы, самоуверенности.

В восторге от того, что больше не увижу этой скучной дороги, я быстро прошел по ней до вокзала и уехал в большой город. Я забыл дорогу меж городом и селом.

Почему же сейчас, когда прошли годы и пооблысела голова, когда обзавелся семьей и кучей разных забот, когда, как говорят, вполне удалась жизнь — хорошая квартира и зарплата, — почему теперь я не могу без этой дороги? Почему, если в ином году не съезжу в отпуск на родину и не пройду этот четырехчасовой путь, я чувствую себя больным и раздраженным? Почему?

Никто уж не узнает во мне того пылкого диковатого подростка, а я часами готов сидеть на той же подставке для рельсов. Я вспоминаю прожитое, хочу понять и оценить его. И я лихорадочно тороплю мысли. О чем же?

Мне не больно, что в перелеске, где прежде жили два соловья, теперь поет один, да и тот не ахти как умело. Я знаю, что соловьев здесь не убавилось. По ночам сотнями голосов они громко напоминают о себе. А мне начинает казаться, что я неразумно суровым был тогда с черноглазой Нинкой. Ну и что из того, что она не сразу разобралась в соловьином пении, а вернее — в моем восхищении им, не принялась поддакивать мне? Может быть, она все это понимала не хуже меня, да не умела или не считала достойным говорить об этом? Конечно же, я был опрометчив и самовлюблен. Да и любил ли я Нинку? Что сделало меня бессердечным тогда? Почему я не видел в себе этого и не изгонял из себя?.. Я думаю, и мне становится стыдно. Я краснею и вытираю жаркий пот, хотя с того времени прошло уже два десятка лет и должны бы потускнеть романтические краски юности. Может быть, я напрасно берегу эти краски?

Нет! Вспыхивающие, они и сегодня помогают мне разобраться в кутерьме фактов. И пусть открытия горьки — они тоже полезны: мне обязательно надо пройти через них, чтобы стать человеком.

Сколько крови попортил я тогда отцу своим равнодушием и молчаливым протестом. А ведь со своей стороны отец был прав. Он поступался многим ради нас, детей. Но в нем жила неукротимая вера, что мне, когда я стану учителем, не придется косить от лесхоза и тайком увозить бревна. А я был глуп и упрям. Давно сбылись мечты отца. Но он умер с мыслью, что я не оправдал его надежд!

Один ли я в этом повинен? Сказать трудно. Но я помню, что мало кто, кроме книг, учил меня в те годы быть добрее и терпимее к людям, уважать их, прощать мелкие недостатки образования и воспитания. Я страдал от этого в юности. И сейчас еще страдаю, потому что тяжело нести в себе сквозь всю жизнь обиды детства.

Мне совершенно ясно, что и грубоватые железнодорожники желали мне только добра. Тем более пораненная моей бессердечностью учительница Татьяна Ивановна. Мне понятны даже поступки лесника дяди Кости. Простить лесника нельзя. Но будь в те годы сегодняшние обстоятельства жизни, он бы не отдавал бревно за бутылку.

И все же многому удивляюсь я в родных местах. Как поределели перелески вдоль всей дороги меж городом и селом! Близ города их и вовсе не осталось. От этого начинает щемить душу. Но гляю сквозь новые прогалины и с интересом пересчитываю свежие шиферные крыши, кирпичные строения. Ничего этого раньше не было. И уже не возмущаюсь, а пристально слежу, как огромный оранжевый трактор отбирает у перелеска еще один загончик земли.

Иду по полям и гляжу, гляжу. И с ревнивой радостью отмечаю, что рожь вдоль старой тропки вроде бы выше той, какую я видел тут в юности. Я измеряю ее по своему росту. Точно, выше. Да так и должно быть. И опять я думаю о том, что раньше угнетало и гнало меня отсюда. Мне надо понять все это...

Жена встречает меня вопросом о билетах на поезд. И мне приходится думать об отъезде.

Уже с осени я настраиваю свое начальство на то, чтобы в следующем году отпуск мне опять дали летом, готовлюсь к тому, чтобы еще раз пройти дорогу меж городом и селом.

В этот раз случилось так, что я приехал к больной матери и весь отпуск просидел дома. Впервые я не прошел знакомой дорогой. Мать успокаивала меня и даже посылала прогуляться до города на денек. Придумывала, что надо там купить. Я бы и пошел, если бы надо было взять в районной аптеке лекарства. Но мать признавала только одного медика — участковую фельдшерицу Раю, с которой дружила много лет и принимала только ее порошки. Они ей и в самом деле помогали.

Мне никогда не думалось, что мать знает мою дорогу, ведь я никогда не рассказывал ей о ней. Но оказалось, что мать знает куда больше, чем я предполагал.

Болезнь ее не была опасной. Так говорила Рая. Да и сама мать считала, что ей просто надо полежать недельку-другую для отдыха. Под ее неусыпным взглядом я варил обеды. И она была довольна, что получается вкусно. За коровой летом особого ухода не требовалось, а доила ее соседка. Мне оставалось только помыть кринки.

— Из тебя бы в деревне толк был, — поощряя мои старания, говорила мать. — А помнишь ли, как все это ненавидел, как молоко перестал пить, лишь бы тебя не мучили на сенокосе? Все в город рвался.

— Помню. А не зря ли рвался?

— Может, и зря.

— Меня надо бы не в педучилище, а в сельхозтехникум отдать.

— Надо бы. Агрономы-то теперь побольше твоего зарабатывают. Помнишь ли, в педучилище-то только пятерочников да дисциплинированных принимали, а в этот сельхоз — всех подряд. Думали для тебя же лучше сделать.

Мать по деревенскому обычаю знала, кто как живет, сколько зарабатывает, что покупает. Раньше она очень гордилась, что дети ее не последние в учебе, все получили высшее образование и назначения в города. Такие назначения она считала гарантией достатка и счастья на всю жизнь. А теперь она не могла понять того, что в деревне стали зарабатывать не меньше нашего и завели сберкнижки.

— Не надо было тянуться нам из последних жил, вас выучивая, — ворчала она. И ожидала, поглядывая на меня не без хитрости, что я, как говорят теперь, заведусь. Я улыбался и отмалчивался. Мы и без слов прекрасно понимали друг друга. Я-то знал, что она вовсе не жалеет о том, что выучила нас. Просто она вызывала меня на откровенность, чтобы лучше понять, отчего же в деревне стали хорошо зарабатывать и жить в достатке. А что я мог сказать, кроме того, что знала она сама?

— Хлебá у вас уж очень хорошие. Шел с разъезда — подивился. Никогда таких не видел тут.

— Это так, — соглашается она.

— А почему? — ловлю ее на слове. — Ты же утверждала, что самый толковый народ из деревни ушел, остались старики да недоумки.

— Так теперь всё машины, — привычно объясняет она. — А удобрений-то сколько всяких возят. У меня на приусадебном участке картошка хуже стала, чем в колхозном поле. Когда это бывало?

— Мама, ты типичная старая крестьянка, мелкая собственница. Рада только своему. Если у других что-то лучше, тебя это огорчает. — Я смеюсь, говоря это. И она смеется. Но все же продолжает причитать.

— Не одна я такая. В деревне все эдак...

Она быстренько взглядывает на меня и прикрывает глаза. Но мне ясна ее хитрость. Она снова хочет вызвать меня на спор. Я молчу.

— А обидно вот что. Теперь и вполовину того не работают, как мы в свои годы убивались. А получают уж и не знаю во сколько раз больше. Разве это справедливо?

Я говорю ей, что были для всех трудные времена. Но она плохо слушает меня. Видно, что она знает и обдумала все это лучше меня. Хочет лишь попытаться, а что сын-то ученый скажет. Мои рассуждения ей неинтересны и она говорит.

— Выйди на улицу, покажись людям. Вон наискосок твой приятель дом зятю перебирает. Спроси, почто он это делает.

Я иду. Действительно, Колька Окунев, обросший типично городской бородой, сидит на срубе и тюкает топором. Здороваемся. Коротко расспрашиваем друг друга о житье. Вспоминаем друзей, что о них слышно...

— Из двух изб одну делаем, — говорит Коля. — Зять с сестрой тут будут жить, а мы с братом — в отпуск приезжать.

Зять, высоченный тощий молчун, стоит тут же. Удивительное дело! Если на бревне у новостройки курят двое, то никто не пройдет мимо. Скоро вокруг нас уже десяток мужиков. Сигареты мои выкурены. Более опытный Коля придержал свою пачку в кармане. Мне приходится брать велосипед и ехать за полтора километра в магазин. По дороге отмечаю, что половины домов в деревне как не бывало, зато остальные перебраны заново, стали выше и шире. Сплошь пятистенки, обшитые тесом, размалеванные крылечки, длиннющие шесты с телевизионными антеннами... В каждом таком доме поместятся две семьи — деревенская и городская.

Возвращаясь, слышу в доме громкие голоса. Ну, конечно же, это Федот, муж моей двоюродной сестры. Под мухой мужик.

— Тетка Марья! — кричит он, силясь придать лицу лукавое выражение. — Ты вредная и хитрая. Есть же у тебя бутылка. Налей мне стопочку — и уйду.

Мать смеется и, наверное, в сотый раз объясняет, что бутылки нет. Федот вроде понимает ее, минуту рассуждает о своей свиноферме и вдруг снова:

— Тетка Марья! Ты вредная. Не продам тебе поросенка.

Меня он долго обнимает. Просит закурить. Я вывожу его на крыльцо, объясняя, что дым для матери вреден.

— Люблю я вас всех! — кричит Федот и больно жмет мои руки. — Оставайся у нас. Сразу заместителем председателя посадим. Свободная должность. Ты справишься. У вас все башковитые. Знаешь как заживем!

Я отказываюсь.

— Все вы вредные и хитрые! — как само собой разумеющееся говорит Федот. — Терпеть не могу таких. Я знаю, чего тебе надо. Тебе надо автомобиль. Бери мои деньги, добавляй тыщу и покупай «Волгу». У меня на «Волгу» тыщи не хватает, а другой машины мне не надо. Все мужики в деревне так решили.

Приходится объяснять, что тысячи рублей у меня нет, и что машину покупать я не собираюсь. Федот поражен.

— А тебя чем за эту пятилетку наградили? — спрашивает он, совершенно уверенный, что меня-то уж обязательно должны наградить. Я говорю, что наград не имею.

— Врешь! — безапелляционно бросает он. — Меня за ту — медалью, а за эту — «Знаком Почета». А сколько у тебя детей?

— Двое, — говорю. Федот меня забавляет, хотя и пьян.

— Врешь! Я хворый — и то четверых завел. Будет и пятый.

И вдруг Федот принимается горестно жаловаться на беспорядки на ферме и во всем колхозе, на председателя, и требовать, чтобы я срочно написал обо всем этом в газету. Он приводил такие убедительные примеры, что я поверил ему и пообещал прийти утром на ферму, все поглядеть, а уж потом написать.

Федот долго жал мне руку, жаловался и на прощанье всплакнул.

— Сходи, — всерьез посоветовала мать, когда я рассказал ей о горестях Федота. — Сходи, должны быть у них безобразия. Да и насчет должности в правлении подумай. Заместителю работы не лишка, ответственности — тоже, а деньги большие платят. Федот поможет, он член правления. Выпивать вот только привык. В месяц раз обязательно нажрется да и болтается по деревне, как сегодня.

Утром я пришел на ферму. Еще издали заметил приземистого Федота. Но встретил он меня без вчерашнего пыла.

— Некогда, брат, — хмурился он. — Видишь, сколько дел? У меня ведь не одна сотня свиней на руках. Тут не до разговоров.

— Ну а безобразия-то?

Но Федот словно и не слышал меня, скрываясь в тамбуре двора. Из любопытства я двинулся за ним. Внутри двора урчали какие-то моторы, ползли ленты транспортеров, стены были исчерчены металлическими трубами. Спины свиней розовели за крепкими решетками. А Федот пропал.

Появился он через полчаса.

— Иди гуляй, — походя крикнул он мне. — Свиней на сдачу надо готовить. Дотемна работы хватит.

Намекать прозрачнее, наверное, было нельзя. И я ушел. Федот больше не заходил к нам, не хотел, видно, меня встретить. Стеснялся, что ли?

— Ну, крестьянин! — ругнул я его про себя. — Обязательно надо похвастаться и поприбедняться. — Докучать Федоту, чтобы лучше понять все, не имело смысла. Он вечно был занят.

Вернувшись с фермы, я застал дома еще одного старого знакомого, которого узнал не сразу. Возле постели матери сидел, положив на колени огромные ладони, празднично одетый мужчина с длинным, немного кривым лицом. «Неужели Вася?» Я не верил своей догадке. Но это был он.

— Здоровья принес Марье Никитичне, — пояснил он. — Пирогов с ягодами, яичек, телятинки вяленой.

Голос Васи звучал басовито и важно, но была в нем еще и подчеркнутая елейность. Это был Вася Опросичев. Но он и не он, Вася поднялся со стула и заслонил все окно, а головой чуть не уперся в потолок. Он явно не знал, что еще сказать, а я — тоже. Вася припоминался мне парнем-переростком, косоглазым и неправдоподобно застенчивым. В армию его не брали, и я слышал, что он долго не женился. В деревне он был, что называется, на смеху. Ходил о нем такой анекдот. Возили мужики из лесу бревна. Во время остановок сани пристыгвали к дороге, и лошади не под силу было сорвать их с места. Возчику надо было резко толкнуть головки саней, и полозья отскакивали от ледяной корочки на дороге. Все так и делали. Один Вася не мог уразуметь этой премудрости. Он видел, что мужики что-то толкают. Но что? Вася решил, что все дело в лошади и старательно толкал ее в бока то одним, то другим плечом или изо всех сил раскачивал ее, хватаясь за гуж и чересседельник. Были у Васи и другие, похожие на эту, промашки.

— Как поживаешь, Василий? — спросил я.

— А жаловаться не на что, — с легким вызовом ответил он, видно, заметив, что я удивлен такой переменной в нем.

— Желаю вам здоровья да мира. Не могу мешать. Пошел, — проговорил он опять благостным тоном и, похоже, донельзя довольный тем, что поступил так хорошо и культурно, чинно вышел из избы.

Мать улыбнулась ему вслед.

— Вот это да! — не удержался я. — Из посмешища апостолом стал.

— А ты думал, как? — подхватила мать. — Теперь его все уважают. И называют не иначе, как по имени и отчеству. Он и от тебя этого ждал, а не дождался, так и говорить с тобой не пожелал. Так-то он разговорчивый.

— Как он переменялся? Неужели оттого, что колхоз стал богаче?

— Нет, тут другое, — мать приготовилась рассказывать. — В самую лихую пору на ноги поднялся. Жена его в люди вывела. Помнишь, сколько раз пробовал он жениться, а девки от евонных сватов убегали и вслед им плевали? Многих он тут обошел, и везде ему обида. А ведь если разобраться — парень-то он был хороший, работающий, не пьяница. Надоумил его, видно, толковый человек ехать в замошские деревни, что за болотами. Земля там не родит, машины к ним не затащишь. Бедней нашего жили. Уехал он туда на мясоед да вскорости и привез жену. Вся деревня ахнула. Все стремились хоть одним глазком взглянуть, что за краля на Васю позарилась. А она так это смело вышла на улицу и со всеми сама знакомится. Не писаная красавица, и одежонка на ней не ахти какая шикарная, да ведь и наши девки не лучше. Оказалась она такой умницей, что и старухи

задумались. Всем угодила, каждому нашлось у нее ласковое слово. На ферму пошла работать, в самую грязь, в бескормицу, а и там ею не нахвалятся. Бабы спрашивают, как, мол, ты решилась за незнакомого да еще косога замуж идти. А она в ответ тихонько: я сразу увидела, что ничего в нем плохого нет, жалеть его надо. Да и деваться, мол, некуда было: годы уходят, женихов нет, бедность. Всю чистую правду говорила. Или вот еще. Придут бабы на ферму и клянут своих мужиков кто за что. А она — по-другому. Я, говорит, своего Василия Васильевича не хаю, старательный он мужик, с утра до ночи в поле да еще и дома пособить норовит. Вот с такой-то женой и воспрянул Вася, другим человеком стал, все у него и в руках-то начало живет поворачиваться. Тут уж и начальству пришлось заметить, что кто же передовик-то, если не он. Так и стал он Василием Васильевичем. Ноне дом у него лучший в деревне, и хозяйство, и пасека. А то и надо сказать, что умная баба что угодно из мужика может сделать, и от худого отвести, и в люди вывести, а другая может и погубить, хоть бы и самого умного. У тебя-то как? — Мать неожиданно перевела разговор с Васи на меня. Пришлось крикнуть и ответить, что у меня — ничего.

— То-то же, ничего, — почти торжествуяще подытожила мать, словно переспорила меня в чем-то. Она ревностно следила и за своими снохами, и нравилось ей в них не все.

В последующие дни мать еще несколько раз брала надо мной верх в спорах и это было вернейшим признаком, что здоровье ее идет на поправку. И точно. Скоро она отобрала у меня ухваты и принялась орудовать у печи сама.

— Ехал бы домой. Нечего на стороне от семьи болтаться. Живешь третью неделю, а о своих и не вспомнил, — вдруг сделала выговор мать. Пришлось

засмеяться и показать, что я не обиделся, и заняться своим чемоданом.

Провожала она меня с той же напускной суровостью, отчего прощаться было легко. Но когда я обернулся, отойдя от дома уже далекомько, то увидел, что мать все еще стоит на крыльце и прижимает к лицу край передника. В груди моей сразу проклюнулось что-то тоскливое.

А вокруг бушевал красный клевер. Он был таким высоким и мощным, с такой силой рвался кверху, раздуваясь в толщине стебля, перепутываясь и сцепляясь стеблями, так энергично выкидывал новые гроздья соцветий, что над полем стоял сплошной хруст. Медовое облако, нависшее над ним, было плотным, мешало дышать и идти.

Я шел на ближайший разъезд, почти не тревожась, что не прошел в этот раз дорогу меж городом и селом.

«Тут все ясно, как этот день и это поле, — подумалось мне. — А день и поле, пусть и изменчивы, но вечны, как вечны в них люди».

И опять мне показалось, что я сейчас пойму что-то очень важное, давно мучающее меня. Но сзади взревел мотоцикл и, теряя нить мысли, я отпрянул на упругую стенку клевера.

— Здорово! — гаркнул мотоциклист, отбрасывая свою машину и расплываясь в широчайшей улыбке. Он сграбастал меня и долго мял руками, которыми можно было, наверное, удушить и медведя. Это был Иван Смирнов, мой однокашник. Три года сидели мы с ним в семилетке на одной парте. Я знал, что он остался в своем, соседнем с нашим колхозе.

Разговорились не сразу. Улыбались и толкали друг друга в бока. И каждый раз я болезненно сжимался, а мои тумачи вызывали у него одно веселье. Однако принялись и за разговор. И опять мне при-

шлось услышать жалобы на то, что уж очень много тут изматывающей работы, что заработки, конечно, неплохие, но тоскливо тут и однообразно, что и нервишки сдают, и радикулит стучит в поясницу.

— Приезжай ко мне в город, — предложил я.

— Давно задумываюсь...

— У тебя какая специальность-то?

— На всех здешних машинах работал. Механиком был. Теперь командую в колхозе всей техникой, в подчинении два механика, четыре бригадира и полсотни механизаторов. День и ночь кручусь. Сердце стало сдавать. Подыщи местечко.

— А как охота?

— Да кое-что перепадает. Везет мне. Сколько выдр, енотов, зайцев, лисиц перестрелял — не помню. Будто сами на меня бегут.

— В городе не выбегут...

— Конечно...

— Из города выезжают в лес на выходные. Теперь это модно. В городах охотников больше, чем в деревнях.

— Да всяких я видывал. Но ведь они наугад. А я не только все берлоги тут знаю, а все норы и выводки. В своей деревне укажу тебе все до единого воробьиные гнезда. Своих воробьев от чужих отличаю. Есть у меня такая струнка. Многие завидуют.

Помолчали. Я помнил это качество прирожденного следопыта за Иваном еще с детства. И оттого он меня не удивил.

— Дом-то новый построил?

— Построил.

— Огород, наверное, большой?

— Это есть. Даже пруд завел с карасями.

— В сметане жарить?

— И в сметане. Поедем? Наловим, пожарим...

Заманчивое предложение. Но мне надо было спешить. Иван, не сразу согласившись, моментом доказал меня какими-то одному ему ведомыми тропками до разъезда. Там уже толпились пассажиры и слышались гудки подходившего поезда.

— Футболом-то интересуешься? — застенчиво спросил Иван.

— Бывает. И ты все болеешь?

— Болею.

— За «Торпедо»?

— За него.

— Плохо они теперь играют.

— Ничего. Их поддерживать надо. А ты видел их, живых?

— Кого?

— Футболистов-то?

— Видел. Всех лучших. И даже сборную не раз.

— Завидую. Красота-то, наверное, какая! Азарт, сила! По телевизору не то. Помнишь, как мы-то играли?

— Помню. Смех один.

— Вот именно!

— Значит, я поищу место и напишу тебе. Приезжай в отпуск хоть на неделю, сам все посмотришь, а потом и решишь, — вспомнил я на прощанье о главном.

— Сделай, не забудь! — Иван прослезился. Да и у меня щипало в горле. Наверное оттого, что мы с ним будто снова побывали в детстве, а сейчас так хорошо понимали друг друга.

В поезде я думал, что неплохо бы иметь в городе такого земляка, как Иван. Мне казалось, что два механика, четыре бригадира и полсотни механизаторов справятся с колхозными делами и без него.

В городе я без труда нашел добрый десяток мест, куда с удовольствием могли бы взять Ивана. Я оста-

новился на вакансии механика в пригородном совхозе, расположенном вблизи лесов и охотничьих угодий. Я написал Ивану длинное письмо, не жалея ярких красок. Но сколько ни ждал, ответа не пришло. Не приезжал на недельку и сам Иван. Только мать в одном из писем сообщила вскользь, что заезжал к ней Иван, вел себя так, будто виноват в чем-то, и просил передать мне привет.

ПЕРВЫЙ ПОДРЯД

I

ВИТЬКЕ было совестно. Не маленький, все понимает, в седьмой класс перешел. И вот замешан в историю. И молчит... А ведь до чего договорились мужики — уши вянут.

— Дак ты уж, Феофаныч, того, и лошаденку мне как-нибудь сообразишь подвезти-подбросить то-се, а может, и покосить где на уповод позволишь, хоть исполу, — слабым голосом, но с верной надеждой спрашивал отец.

— Придет срок — сделаем, — Феофаныч тыкал в трудь отца растопыренной пятерней и воодушевлялся. — Вот те пять! Мы да с тобой во как заживем! — И вздымал над столом большой палец, задубенелый и кривой, словно бараний рог.

— И мы понимаем, с кем дело иметь, — радовался и льстил гостю отец.

— Дай я тебя поцелую! — ревел Феофаныч.

Отец, это видно, отбивается вполсилы. А не в лицо, так в потную лысину чмокает его гость, оступается, деревянная нога его так и бухает по полу. Ну и веселье!

Витьку начала разбирать злость. Раньше-то он тайне радовался нечастой отцовской веселости. Но

сегодня дело было другое. Ишь каким орлом взглядывает Феофаныч на мать. И к ней не прочь подскатать со своими мокрыми губами. А мать все видит. Глаза прищурены без улыбки. Это точно — думает: выставлять мужикам еще бутылку или нет. Пошла.

Витька бочком проскочил мимо стола. А пока мать собирала ему поесть, вышел на крыльцо. Тут его ослепило высокое июльское солнце. Захватило дух от чистого-чистого, чуточку влажноватого ветерка. Казалось, этот ветер дул и там, в высоте, увлекая белоснежные облачка, и внизу, вытягивая ветки берез. Он очищал землю и все, что есть на ней, но не мог проникнуть в Витькину избу, наполненную сейчас удушливыми запахами сивухи и табака. Витька почти понял это. Но мысль его тут же оборвалась. Он по привычке ухватился за резные балясины крыльца, даванул на них, что было сил. Стало больно ладоням, но не поддались балясины и в этот раз, не согнулись.

«Опять не смог! — кольнула Витьку досада. — Когда же я человеком буду!»

Сгибать балясины перил Витьку учил старший брат Сергей. Приедет Серега из своего офицерского училища на каникулы и бахвалится силой: вцепится в балясины, покорежится весь, посинеет, но зато скрипнут балясины и прильнут одна к другой.

* * *

В то памятное утро дул такой же тягучий ветерок, когда отец впервые повел Витьку на подряд. Пришли они на окраину чужой деревни, отец показал Витьке только что срубленный коровник и сказал: «Будем наводить на нем крышу». Витька разглядывал бревчатые стропила, обрешеченные старыми слегам, и с опаской переступал с места на место. Луговина

вокруг сруба была изгвоздана гусеницами тракторов и устлана багровыми от солнца щепками. Густо стоял запах смолы и освежеванного дерева. Казалось, сама земля в избытке рождает этот бодрящий запах.

У той стены двора, куда реже заглядывало солнце, горбилась длинная, в четыре ряда поленница дранки. Сколоченная из сырых жердей лестница лежала рядом.

— Ишь, в кои веки видано, все готово! — удивился отец. — Значит, двор-то им позарез нужен. Ты посиди, — деловито обернулся он к Витьке. — А лучше дранку в вязанки собирай и поднимай наверх. Давай-ко покажу, как. — Отец прислонил лестницу к крыше и принялся наставлять сына. — Не рассыпай пучки-то, из целых удобнее крыть будет. Понял? Ну и добро. Я за гвоздем побегу.

Витька огляделся. Рядом с коровником возводились еще два таких же длинных строения. Со стороны их летел перестук топоров. Тут было на что поглядеть. Но в душе Витьки словно заноза застряла. По дороге отец немало порассказал ему. Можно было подумать, что он рассуждает сам с собой, но Витька-то знал, что все эти слова адресованы и ему, чтобы понимал, на какое дело идет. Витька слушал и запоминал, что здешний председатель колхоза больше всего на свете любит строительство и есть у него к этому талант, что он уже три колхоза отстроил, оставил после себя память, а теперь за четвертый принимается. И куда бы ни бросали этого председателя, за ним кочует бригада плотников-шабашников, потому что платит им этот председатель больше, чем другие, и что — уж это точно известно — и себя не обижает председатель, умеет урвать от сделок куш. Отец рассказывал таким тоном, будто ничего постыдного в этих строительных делах не было, кроме всеобщей выгоды. А Витька злился втихомолку,

не зная, верить отцу или нет. Он давно заметил, что отец мало о ком говорил добрые слова.

Витька сидел на кромке крыши и равнодушно наблюдал, как отец ведет по краю опалубки первый ряд дранки. Отца — это было заметно — раздражало безучастное поведение сына, но ругаться в самом начале большого дела не полагалось. Отец только бросал на сына быстрые взгляды, а сам ловко укладывал рядки дранок, накрепко пришивая их гвоздями к слегам, и сопровождал каждое свое движение пояснением. Ничего хитрого в этой работе Витька не видел: клади дранку на дранку, изломом вниз, проверяй по зарубке на ручке молотка, пока глаз не пристрелялся, длину выпуска, забивай гвозди. Вскоре отец отодвинулся и настороженно следил со стороны, как освоил науку сын. Витька старался, хотя получалось у него не ахти как споро: то дранка сползала, то молоток норовил вырваться из рук, то сыпались гвозди. Наблюдал отец недолго.

— Получится. Валяй с богом, — подбодрил он Витьку. — Не торопись по первоначальному. А я пойду, еще одна работенка наклеивается.

Оставшись один, Витька успокоился. Новое дело и чувство ответственности за него прибавили ему сосредоточенности и ловкости. Да и хорошо было на этой верхотуре! Над головой щебетали ласточки, вылетающие с песчаного обрыва. Они, как крошечные вертолеты, на несколько мгновений повисали в воздухе и вдруг падали, скрываясь за князьком. С резким шумом проносились косокрылые стрижи. Здесь, на высоте, запах смолы был почти не слышен, зато волны тугого ветра приносили аромат цветущего клевера. От всего этого Витьке становилось радостно и хотелось петь. Он и пел, что приходило в голову, начиная от пионерских гимнов, выученных еще в начальной школе, и кончая «Александровским центра-

лом», который частенько певал древний деревенский шгорник Кимряк. Мешали только гвозди. Они поминутно выскальзывали из рук и с шорохом катились вниз. Гвоздей было жаль. Но не слезать же из-за каждого с крыши, да и где их разыщешь в щепках и траве. Отец советовал держать гвозди во рту, как делал сам, часто сплевывая черный шматок слюны на чистую дранку. Но Витька так не мог, брезговал. Он удерживал горстку гвоздей между большим и указательным пальцами левой руки, этой же рукой придерживал дранку, а правой — орудовал молотком. От холодных гвоздей, от постоянного напряжения руку хватала судорога. Но это скоро прошло. Беспokoило только, что теряется много гвоздей и что за это могут ругать.

Отец вернулся к вечеру и тщательно осмотрел Витькину работу. Замерил покрытую площадь, на минуту примолк, шевеля губами — в уме считал — и объявил, сколько Витька заработал и оправдал ли съеденный за день хлеб. Выходило, что оправдал и не единожды. У Витьки с непривычки болели бока, хотелось и есть. Но отец не спешил домой. Он глядел на сына, будто решался доверить ему что-то очень важное.

— Вот что, парень, — наконец, начал отец. — Ты, я вижу, в каждую дранину гвоздь забиваешь. А это ни к чему — крыше лишняя тяжесть и дранку на жару больше рвать будет. Через одну за глаза хватит, если в слегу бить. И дело быстрее. А у нас дома крыша тоже скоро ремонту запросит, а гвоздей — не купишь. А еще лучше так: дранку клади не в один продольный ряд, а сразу в два, а то и в три. Гвоздей еще меньше уйдет, а работа — в два раза спoree.

Говорил отец негромко, поглядывая на сына тревожно и пристально. Он накладывал ряды дранок и в один-два удара намертво топил редкие гвозди.

— Учишь? — донеслось снизу. Феофаныч, ухватясь за лестницу, зорко посматривал на кровельщиков.

— Учу! — преувеличенно бодро тотчас отозвался отец, забивая по гвоздю в каждую дранку.

— Правильно. Ремесло за плечами не виснет. Пусть приучается малец к делу, не как иные шалопай. Да и скорее вдвоем-то подряд справите, — одобрил бригадир и пошагал к плотникам. Витька недолго наблюдал, как хромает и далеко в сторону откидывает свою березовую ногу Феофаныч, преодолевая ямы и кучи щепок. Витьку занимали руки отца.

«Сколько же надо практиковаться, чтобы вот так же быстро и ловко получалось?» — думал он. Работать хуже отца ему не позволяло самолюбие. Да и в жизни Витька уже понимал кое-что. Знал, что без денег — везде худенек, что без копейки и спичек не купить. А тут за один день сам заработал больше пятерки, это спервоначала. А что будет, если поднаторееет? Эти мысли почти целиком заглушали горечь, охватившую его, когда он понял, что отец намерен уносить колхозные гвозди домой.

Не был спокоен и отец. Всю недалнюю дорогу до дома он твердил одно и то же:

— Что поделаешь? Погляди, ведь все, кто ни строится в деревне, и гвозди, и шифер, и электропроводку, и болты-винты всякие — достают. В магазинах нет — а достают. Значит, есть оно все, что требуется. И всем хватает. Кто как может... Вот и приходится. О-хо-хо! Ничего не попишешь. Да мы-то что — у нас крохи. Другие-то разве эдак? — Отец вздыхал, крепко придерживая за пазухой старую полевую сумку, в которую молча положил, прежде чем спуститься с крыши, килограмма полтора гвоздей.

На другой день Витька с радостью заметил, что руки его движутся проворнее, ряды дранки поднима-

ются кверху быстрее. Вон и князек уже рядом. В полдень Витька спустился на чердак и впервые пообедал под крышей, которую покрыл сам. Он понял это и почувствовал уважение к себе. Теснились восторженные мысли, что вот он уже не напрасно живет на свете, что и от него польза есть.

Отец навещал не часто. Но времени не терял. Садился рядом с сыном, и они стучали в два молотка. Витька изо всех сил старался не отставать. И по стучу слышал, что они должны идти вровень, но обернувшись — ахнул. Оказалось, что отец и крыло гонит шире, и поднял его на две четверти выше. Тут же Витька заметил, что рядки у них не сходятся.

— Где же я напутал? — растерянно оглядывался он. Нельзя же было предположить, что ошибся отец.

— Так это ж только внизу выпуск надо делать по зарубке, на четверть дранки, а выше — и на треть сойдет, — пояснил отец, угадав недоуменье сына. — И дело опять же живее.

— А долго ли такая крыша простоит? — не стерпел Витька. Спросил так, словно уличал отца в нечестности.

— Чудак! — усмехнулся отец. — Понимать надо!

— Что понимать?

— Ну тогда я тебе по-ученому объясню, — с видимым спокойствием сказал отец. — На верхнюю часть крыши дождя падает столько же, сколько и на нижнюю. Верно?

— Конечно, — не задумываясь отозвался Витька. — Оттого и крыть надо везде с одинаковым выпуском.

— А вот и не надо, — обескураживающе засмеялся отец. — А ты учел, что вода сверху вниз течет? Она, брат, течет. Значит, на нижней части крыши ее всегда больше и крыша там должна быть попрочнее. Так мы и должны делать, чтобы крыша хоть сверху,

хоть снизу одинаковый срок отстояла. Вот так. Не сразу все-то секреты ремесла даются.

Витька растерянно замолк. Ведь чувствовал же он всей душой, что и с гвоздями, и с выпуском отец мудрит, что есть тут что-то нечистое. А как доказать?

Витька тайком заглядывался на плотников. Он еще не видел такого дружного и крепкого народа. Нравился ему их диковатый азарт, с которым они ворочали тяжеленные бревна. Дивился он тому, что после недельных трудов артель начисто пропадала дня на три. А потом снова звенела топорами весь долгий летний день.

У плотников работал одногодок Витьки Ванька Горев. Был он в артели на подхвате, забегал и на крышу к другу.

— Куда это твои шабашнички пропадают? — спросил Витька.

— Это у них загулы! — восторженно тараща глаза, рассказывал Ванька. — Чего им не гулять. У них заработки знаешь какие? На этой неделе снова собираются, меня в компанию берут.

Витька попытался представить, как сидит за артельным столом его дружок, и как бы он сам вел себя на месте Ваньки. А, наверное, выпил бы. Выдержал бы пару-то рюмок.

Через день плотники на работу не явились, и Витька сидел на крыше одинокий, с откуда-то взявшейся обидой. Но едва он принялся без всякого аппетита за обед, как на крыше загрохотало. Витька испугался, но тут же отлегло от сердца: на чердак заглядывало бедовое Ванькино лицо.

— Нагрузились шабашнички! — громко зашептал Ванька, блестя осоловевшими глазами. — А ты бедно харчуешься. У шабашников сейчас такие харчи под столом валяются. А я знаешь сколько выпил?

Три стопарика. Честно! Больше не дали. Так я увел!

Ванька торжественно вытащил из-за пазухи початую бутылку «Московской». У Витьки захолонуло в груди.

— Чего дрейфишь, как девчонка! Ты же работаешь! — горячо убеждал Ванька, наполняя дрожащими руками неополоснутый после молока Витькииз стакан.

— Вали!

— Поменьше бы, ведь я в первый раз, — содрогнулся Витька. — Давай сам сначала.

— Эх ты! Молочко кушаешь. Гвозди воровать можешь, а выпить мама не велит! — пьяный Ванька неожиданно озлился.

Надо было решаться. Витька уже прикоснулся губами к краю стакана, зажмурился и сморщился от противного запаха, как возле двора раздался крик.

— Витька-а! — тревожно звал отец. Заскрипела лестница. Отец наверняка взбирался на крышу. Ванька заругался еще злее и, расплескивая мутную жидкость, слил ее обратно в бутылку.

— Катись! — повелительно указал он Витьке на крышу. — А то накроет.

Витька сунул стакан в сумку и полез навстречу отцу.

* * *

— Витя? Суп остывает! — мать вывела его из оцепенения. Она вышла на крыльцо, зорко взгляделась в лицо сына, что-то заподозрила и прикрикнула. — Не дури! С таких-то лет не о деле помышляешь!

Витька резко обернулся к матери. И, пожалуй, впервые недобро и прямо глянул в ее глаза.

— Иди, — смягчилась мать. Он и пошел.

— За стол! Кровельщик — первый класс! — рывкнул ему навстречу Феофаныч, размахивая бутылкой. Дважды качнувшись посреди горницы, гость все же поймал Витьку за рукав и затащил его в передний угол. Мать замерла в дверях.

«Не посмеет гостя остановить», — подумал о ней Витька, боясь того, что сейчас должно произойти, и сильно желая, чтобы оно произошло.

Мать строго глянула на отца. Тот криво усмехнулся и отобрал у Феофаныча бутылку. В ней было едва на донышке, но отец вылил в Витькину стопку не все, примериваясь, не удастся ли выкроить из остатка и Феофанычу.

— Лей ему все! Я бы такому парню! — орал гость.

Витька важно принял стопку. Он не чувствовал, как три пары глаз впелись в него.

— Да ведь он и на самом деле выпьет! — с приторным ужасом и ужимкой вскрикнула мать, то ли желая остановить сына, то ли приглашая мужчин на потеху.

— Ой, елки-моталки! — отец затрясся в смехе. Хохотнул и Феофаныч.

Витька побледнел. Он понял, что смеются над ним. И уже не обида, а щемящая боль хлынула в грудь. В отчаянии он глотнул из стопки и схватился за горло. Он ожидал другого, а не этой огненной горечи, выдавливающей слезы. Он почти не слышал хохота. Видел только лица, потные, с распахнутыми, дергающимися ртами.

«Потешаются...»

Витька справился с минутной тошнотой и прошел мимо расступившихся, сразу примолкших взрослых. На крыльце расчетливо ухватился за балясины и со злом, чувствуя, как наливаются силой ладони и мышцы где-то на спине, сжал балясины. И почти не

обрадовался тому, что балясины дрогнули и коснулись друг друга.

«А что дальше? Что?», — в смятении спрашивал себя Витька, почти бегом удаляясь от дома. Но и бег не успокаивал, не отвлекал. Скоро он очутился на опушке ближней выгороды. Время было предобеденное, в лесу пусто, грибники уже убрались по домам. Здесь никто не помешает. Сквозь ломкий ольшаник он продирался к середине леска, на свою любимую поляну, которую устилал слой сухого и даже в жару прохладного кукушкина льна. С размаху упал на зеленую перину.

Кругом было тихо и светло. У самой травы воздух замер в истоме, исколотый едва видимыми шипами белоуса, но в вышине редкие клочья облаков торопливо неслись за кромку леса и оттого казалось, что молодые ели, обступившие поляну, тоже плывут, склоняясь и с любопытством разглядывая Витьку. Ему даже подумалось, что ели чего-то ждут от него, а он совершенно не знал, что делать, и уткнулся в прохладу мха.

— Издеваются! — плакал он. — А сами что делают!

* * *

Припомнились последние дни подряда. непонятная тревога отца. Крыша была готова. Отец смёл с нее ломаную дранку и ленточки отставшей коры, долго ползал по чердаку, высматривал, не просачивается ли где меж дранок свет. Сомнительные места затыкал щепками. И наконец, все еще оглядываясь на крышу, пошел за бригадиром.

Феофаныч на крышу не полез. Он только зорко следит, как отец обмеривает ее палкой.

— А палка-то с метр ли? — вдруг усомнился он.

— Да что ты, Феофаныч! — запротестовал отец.

— А мы проверим. — Феофаныч вынул из кармана заржавленную рулетку. Отец размахивал руками, божился, менялся с лица, долго не отдавая палку. В ней до метра не хватило доброго вершка.

— Ведь и ошибиться можно, — оправдывался отец. — А у тебя, поди, рулетка-то стогадовая, пови-тянулась давно.

— Сталь не вытягивается, — назидательно ответил Феофаныч, — но и ошибка у всякого может выйти. Сколько намерял-то?

Отец назвал число.

— Так и запишем, — Феофаныч одарил отца многозначительным взглядом и прохромал для порядка вдоль двора.

— А князек-от как крыли?

— С прокладкой, самолучшую дранку отбирали, — заспешил с ответом отец. Он прижимал к груди свои широкие ладони, глаза его выражали немой укор. — За такой князек хороший хозяин по метру во всю длину накидывает...

— Накидывает, говоришь?

— Обязательно! Чтобы по-людски было...

— Коли будет по-людски, то и накинem, — Феофаныч прищурился и вдруг заговорщицки подмигнул отцу сразу половиной лица. У отца облегченно опустились плечи. А у Витьки сами собой кривились губы. Ему было все понятно.

* * *

Лежать надоело. Да и есть хотелось все больше. Но брусника в выгороде была еще зеленая, а других ягод тут не водилось. Витька поднялся и побрел к опушке. И не удивился тому, что навстречу ему шел отец.

— Что ж ты, мил человек, нас обижаешь. При госте неловко из-за тебя. Пошли живее! — Отец не

ругаялся, он явно обрадовался Витьке. А Витька молчал, нарочно медлил, срывал травинки и грыз их белую мякоть.

...На крыльце Витька ухватился было за балясины, да тут же и опустил руки.

«Не в балясинах дело», — подумалось ему.

Его усадили за стол. Встревоженная мать распечатала новую бутылку. У Витьки вздрогнули руки, когда отец налил ему полную стопку, и водка полилась через край. Он принял стопку, поглядел в лица Феофаныча и отца. И взрослые не узнали его, потому что совсем не мальчишеский взгляд был сейчас у Витьки.

— Ну! — вскрикнул Феофаныч, торжественно поднимаясь над столом. — Теперь у нас полная нормализация. Поехали!

Отец с какой-то жалкой улыбкой, вымученной, полужапанной, будто ему было совестно, потянулся к сыну чокаться. Витька, не мигая, переводил взгляд с одного жмельного лица на другое. У него вдруг закружилась голова. То ли от угарного удушливого воздуха в избе, то ли от голода, то ли от выпавших на сегодняшний день переживаний. Взрослые торопили его, а он медлил. Ведь ждал же он этого момента, много дней ждал, когда мужики признают его равным себе, готовился к этой минуте. Она пришла...

Витька еще раз про себя удивился тому, как охватывает, наполняет его новое понимание жизни, нерадостное, тяжелое, но такое, от которого не уйти да и нельзя уходить. Словно сильная птица взмахнула ярким крылом перед лицом Витьки. А может, и не перед лицом, а в груди, у самого сердца взмахнула. И он пружинисто вскочил.

— Нет! — хрипло вырвалось у него из горла. — Не надо мне подлого заработка, ворованного хлеба, этой грязной водки!

Голос его зазвенел. Он резко поставил стопку на стол и выскочил на середину комнаты.

— Подло! Подло! И чем гордитесь! — выкрикивал он.

Витька не видел, как сморщился и обмяк отец, как побледнела, но построжела лицом мать, как мелко затрясся, оседая на лавку, Феофаныч.

— Не доносить ли хочешь?! — панически закричала мать.

— Строительство — святое дело, за него не столько надо платить, пойми, — сбивчиво заговорил Феофаныч, словно хватался за соломинку. Отец молчал, закрыл ладонями лицо.

— Доносить я не пойду! — твердо сказал Витька. — Но больше такого не позволю. Теперь я знаю, что делать...

Он проговорил это как бы с угрозой. Порывисто выбежал на крыльцо, без сожаления проскользнул мимо балаясин. Он знал, что если бы даванул на них сейчас, то сопнулись бы они не хуже, чем у Сереги. Не знал он отчетливо одного: а что же теперь делать, хотя только что и заявил взрослым, что знает.

Витька пометался по заулку и сел на бревнышко. И вдруг понял, что надо и дальше добиваться честности, а не убегать от взрослых, как сейчас. Надо! Иначе будет растоптан его первый чистый и сильный порыв да еще и попрекать его будут этим всю жизнь, насмехаться. Он понял, что ему нечего бояться их, что они сейчас сами боятся его.

Он спокойно, сердитыми глазами проследил, как отец провожает Феофаныча к сараям, где стояла лошадь гостя. А когда отец вернулся к дому, Витька не спеша подошел к нему.

Они сошлись. Витька строго глянул в лицо отца, и отец отвел глаза, опустил на плечо сына тяжелую горячую ладонь и ничего не сказал.

Витька слышал, как всхлищывала на кухне мать. Но он не чувствовал себя виновным перед ней. В этот момент он твердо решил, что поступит в строительное училище. Будет настоящим строителем. И так станет работать, что смоеся и забудется сегодняшний позор родителей. Да и его собственный позор.



19 коп.